

УДК 94(436)"19"

UDC

DOI: 10.17223/23451734/7/2

МИХАИЛ КАЧКОВСКИЙ И СОВРЕМЕННАЯ ГАЛИЦКО-РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА*

Б.А. Дедицкий

Резюме

В своей брошюре, изданной в 1876 г. во Львове, Б.А. Дедицкий (1827-1909) - по определению В.Р. Ваврика, первый профессионал-журналист Галицкой Руси - рассказывает о жизни одного из видных деятелей русского движения Галиции М.А. Качковского (1802-1872), сторонника единства русского народа, об обстановке, в которой формировались его взгляды, о круге его друзей-единомышленников, дает обзор галицко-русской литературы Галиции до 1848 г. включительно.

В 1861 г. М. Качковский основал во Львове первую независимую русскую политическую газету «Слово». Все свои сбережения (80 000 гульденов) он завещал использовать на народные цели. На эти средства в 1874 г. по инициативе о. Иоанна Наумовича было основано «Общество имени Михаила Качковского», занимавшееся культурно-просветительской работой среди русинов Галиции.

Ключевые слова: М.А. Качковский, Б.А. Дедицкий, Галицкая Русь, Галиция, русины, Австро-Венгрия, Россия, русинское Возрождение.

MIKHAIL KACHKOVSKII AND CONTEMPORARY GALICIAN-RUSSIAN LITERATURE

B.A. Deditskii

Abstract

In his booklet published in L'vov in 1876, B.A. Deditskii, who according to V.R. Vavrik, was the first professional journalist of Galician Russ, relates about the life of one of the prominent activists of the Russian Movement in Galicia, M.A. Kachkovskii, who was an advocate of the unity of the Russian People. Deditskii also relates about the situation in which M. Kachkovskii's views were formulated, about the circle of his like-minded

* При переводе текста, написанного по правилам дореволюционной орфографии, редакция постаралась максимально сохранить стиль и язык материала.

friends and presents an inclusive review of Galician-Russian Literature in Galicia up to 1848.

In L'vov in 1861, M. Kachkovskii founded the first independent Russian political newspaper «The Word». All of his savings (80 000 guilder) M. Kachkovskii bequeathed for national purposes. On the initiative of Father John Naumovich in 1874, these funds were used to found «The Society in the Name of Mikhail Kachkovskii», which carried out cultural-educational work among the Rusins of Galicia.

Keywords: M.A. Kachkovskii, B.A. Deditskii, Galician Russ, Galicia, Rusins, Austro-Hungary, Russia, Rusin Renaissance.

ВСТУПНОЕ СЛОВО

Описывать житие знакомитых людей, наших современников, уважается нелегкой задачей - и суть тому две между прочими немало-важные причины. Одна из тех причин - что оные люди, проживая посреди нас, як все мы обыкновенные смертные, затем и с будденными потребами и не без где-яких человеческих погрешностей, суть поистине земскими существами, на других похожими, - и описывающий их жизнь под тем будденным призматом воззрения находится в опасении стать биографом несправедливым, ибо уемным. Другая не меньше здесь вредящая причина есть, что прекрасные свойства души знакомитых личностей являются нам в тем светлейшем блеску, чем ближе и пристальнейше в них мы всмотрюемся, - и затем случается биографу их, помянутым блеском увлекающемуся, что списует панегирик вроде тех, яких множество списал великий Плутарх в честь отличных мужей старинной Греции и Рима.

Для соглашения тех двоих крайностей - уемности и панегиризма - наизнакомитший гений просвещенной Германии Гете описал свою собственную жизнь из молодых лет в 4 пространных книгах и окрестил тую ж автобиографию едино соответным заглавием: «Ans meinem Leben – Wahrheit und Dichtung».

Пояснивши тем способом значение девиза, поставленного в челе настоящей житъеписи Михаила Качковского, мы дальше сознаемся, что, помимо нашего довольно объемистого труда, даем тут далеко еще не полный образ знакомого патриота Галицкой Руси, который жил и действовал целых 70 лет и которого почти каждый прожитый год - особенно с лета возрождения той же Руси 1848 - мог бы составить предмет для списания отдельной книги, относящейся своим содержанием также к истории галицко-русской словесности.

Довершение таковой задачи, превосходящей силы одного биографа, предоставляя подобным же подвигам других тружеников-ли-

тераторов и тех **премногих** частных людей, которые нашего Михаила знали **лично** и с ним вместе действовали на Руси благо, я только прибавлю еще из моей стороны, что при составлении подлежащего моего труда поступал так само, як поступают вообще совестные биографы: собирал материалы^{*} из возможно наивернейших источников, а, проживая свыше 13 последних лет (от 1859 до 1872 года) с моим изряднейшим благодетелем Михаилом в самых ближайших личных отношениях, пользовался я и собственным своим знанием як наибольше.

Не могу к тому молчанием здесь поминути одной для моего труда счастливой околичности, о которой, впрочем, говорено будет и на своем месте в биографии, - именно той околичности, что еще в начале 1872 г., носячись с мыслью составления якого-то жисьеписного очерка о Михаиле Качковском, я дождался тогда же благоприятного случая, что таки за его жизни и с его же уст узнать возмог для той цели многие подробности, которые все употреблены мною днесь в сем моем сочинении. В оном убо году, дня 2 л. мая - затем на три месяцы перед своею смертью - заехал бл. п. Михаил Качковский ко мне в село Смереков коло Жолкви (сегодня Жовква - город районного значения во Львовской области Украины. - Ред.), где я тогда жил в доме моего доброго шурина о. **Игнатия Ванковича** и, пробывши со мной постоянно через три дня, заспокоял мое наскучное любопытство в том направлении щиродушными рассказами о событиях своей жизни от наимолодших лет до старости.

На том же месте должен я еще сознаться, что принадлежу к числу тех довольно многих у нас людей, для которых блаженно упокоившийся Михаил был изрядным покровителем, и то именно я один на Руси, которого он, кроме того, щедрейше всех других вознаграждал даже по своей смерти. Сия околичность не говорит, правда, в корысть бессторонности моего труда, но она не исключает меня от призвания быть биографом моего благодетеля. Из другой же стороны, тое мое дело, так из взгляду на описываемую в нем деятельность первого **мецената** галицко-русской **словесности**, як и по моему специальному становищу, яко содействовавшего с ним русского литерата ех professione, содержит по необходимости при биографии довольно многие входящие сюда **историко-литературные** известия, - а тии ж имеют уже в каждом направлении свою цену для истории, и сами собой будут чей любопытны як для современных, так и для потомства. А тое ж обстоятельство, указанное, впрочем, и на заглавном

* Имея сам сверх 100 собственноручных писем бл. п. Михаила, ко мне писанных, получил я еще около 50 таковых от высокопочтенного Якова Ф. Головацкого из Вильна.

листе моего дела, есть собственно причиной, что оное дело возросло до **объема** значительно **большого**, чем який определяется для обыкновенной биографии.

В конце чувствую себе обязанным выразить тут мою искреннюю благодарность тем **почтенным мужам**, которые, зная лично и бывши друзьями бл. п. Михаила, извоили со всей готовностью и охотой уделить мне будь письменные по нем материалы, будь известные им о житие его подробности, як о том упоминается уместно в биографии. Их-то авторитету як наибольше буду я одолжен приписать, если труд мой так в общественном мнении, як и в истории словесности нашей приобретет свое значение и ценность.

Писано в Жолкви дня 3 р. мая 1876 г.

РОДИНА МИХАИЛА КАЧКОВСКОГО

Михаил Качковский родился дня 24 юлия 1802 года^{*} в селе Дубне Решовского округа Канчужского деканата, где его отец **Алексей** с года 1793 был приходским священником. Мать Михаила **Анна** из дому **Реваковичев** была тоже священнического рода, именно дочка русского приходника села Чижок около Самбора.

У родителей - супругов, у о. Алексея и Анны Качковских, было враз с нашим Михаилом шестеро детей, и все они родились под одной и той же стрехой скромного приходского дома в селе Дубне, а то следующею чергою:

1) дочь Фекла (р. 1795 г.), выдана в молодых летах (в г. 1812) за священника о. **Якова Галецкого**, по упокоении которого (в 1829 г.) в приходстве Порохнику около Ярославля вышла во второй раз замуж за г. **Иоанна Левицкого**, лекаря в Лежайску, где в г. 1853 и скончалась;

2) сын **Иоанн** (р. 1798 г.), ставший в г. 1821 священником, был сперва на капелянии в Горицах Канчужского деканата, а по смерти родителя о. Алексея в г. 1825 - приходником в Дубне, где и упокоился дня 14 апр. 1865 г.;

3) дочь **Мария** (р. 1800 г.), выдана в г. 1815 за о. **Георгия Галецкого**, который был родным братом своего шурина Якова и сперва приходником в Залесье около Решова, а по смерти той жены своей

^{*} Точные хронологические даты из метрикальных книг села Дубна, сюда относящиеся, сообщил мне пр. о. Сильвестр Круликовский, современной приходник Дубненский, которому за то изъявляю тут искреннее благодарение.

Марии († 1846) - приходником и крылошанином при соборной церкви в Перемышли;

4) наш **Михаил** (р. 1802 г.), один в той священнической родине определенный с малолетства для студии мирского звания;

5) дочь **Юлия** (р. 1803 г.), выдана в г. 1818 за о. **Петра Паславского**, приходника в Боратыне Порохиецкого деканата, который по ее смерти (1820 г.) стал сотрудником, потом приходником и почетным крылошанином при церкви св. Варвары в Ведни;

6) Сын **Онуфрий** (р. 1806 г.), который, ставши в г. 1835 иеромонахом, наречен был **Орестом** и упокоился в Василиянском монастыре в Кристинополе (1854 г.).

Все тут наведенные по имени лица родины Качковских почивают ныне в гробах, далеко друг от друга раскинутых; но в начале нашего настоящего столетия все они составляли кипящий жизнью кружок в уютной хате приходской села Дубна.

А то же село Дубно есть одним из оных 9 приходств сильно ныне спольщенного Решовского округа, которые все разом составляют один Канчужский деканат русской Перемышльской епархии и в которых жители - с изытием именно того одного Дубна, доныне русского - переважно суть мазуры. Числя сверх 1500 душ русских в 340 хатах, село Дубно лежит у самого стечения двух значительных рек Галичины: мазурской Вислоки с русским Сяном, который от востока широким руслом плывет по-при огород и землю Дубнянской церкви, красующейся на небольшой возвышенности и недалеко отстоящей от дома приходского. На запад оттуда тянется село, а за ним равнина, перемеженная полями и сеножатами умеренной плодородности. Народ тут еще в большей части говорит по-русски, однако с некоторой примесью польской беседы так по выговору, как и в слововыражении.

На приходстве того села жила, как сказано, родина Качковских с года 1793-1865, т. е. 72 лет тем наследственным порядком, что 32 года был тут постоянно приходником отец, а после того лет 40 - найстарший сын.

Головой сей родины был с года 1793 смиренный и прилежный служитель церкви Божьей о. **Алексей**, душой же - отлична, полная живучести хозяйка мать **Анна**.

О них-то сохранял наш Михаил, всю тую родину свою переживший, самое приятнейшее воспоминание - и мы постараясь из слышанных от него поминаний составить прежде всего беглый образ характера и жизни так родителей, как по части и братьев и сестер его, будучи уверены, что многие черты того образа послужат к пояснению жизни и характера самого ж Михаила.

Итак, по рассказам нашего Михаила, отец **Алексей**, походячи с незапамяти от предков духовного звания, был священник некая наследственный своего роду и затем весь «дышащий типиком и псалтырью». Подготовленный от нежной юности к служению в церкви по святому обычаю нашей старинной Руси, он, окончивши богословские студии «по ветхорусскому воспитанию», вынес оттуда точное знание церковного устава и столь ревностное замилованье до действий в книге священных нашего обряда, что таковое впоследствии времени случилось у него единою задачей жития и, так сказать, побожным пристрастием. По той причине о. Алексей яко иерей по чину Мельхиседека исполнял всякие обычные и надобычные священнодействия строго согласно уставу, без малейших пропусков, не только в Божьем храме, но, кроме того, совершал он все иерейские молитвы каждой поры дня, и то будь сидя над церковными книгами дома, будь читая из молитвослова на проходе под открытым небом. А хотя за ежедневным столь прилежным чтением он знал те молитвы почти в целости наизусть, но все-таки любил он постоянно их отчитывать из книг старинного издания, утверждая не без основания, что при чтении, где действует один только смысл зренья, дух молящегося тем лучше углубляется в божественную мысль молитвы и в тихом своем восторжении некая разговаривает с Богом. До того ж любил он больше всего молебные книги старых изданий, многим употреблением и действием времени обветшалые, рассуждая по перенятому от старины преданию, что в таковых книгах под многими взглядами большая соблюдена точность, и что к тому в них выпечатлены следы набожности дорогих нашему сердцу предков, - следы, к подражанию богобоязной жизни отцов нас поощряющие.

При таком постоянном занятии около дел не от мира сего о. Алексей, хотя закоренелый домосед, мало знал о том, что деется кругом него дома и за домом, предоставляя все хозяйство домашнее сведущей и трудолюбивой жене. Тож сам он редко выездил из дому, разве за делом до наблизших соседей. Только раз или два каждого года отбывал он немного дальшую поездку в Самборскую землю, которую уважал «праматерью и колыбелью» численно разветвленного роду Качковских и в которой тогда еще жили многие его сородники.

Одно еще свойство особенно приметно было в его личности, которое, вправде, тоже развиться могло под влиянием специального образа иерейской его жизни, но являлось у него в так великой степени развития и непринужденности, что нет сомнения, яко было оно свойством его существенным, природным. Кроме того, бо что яко искренний человеколюбец подавал он ближним в потребе больше чем щедрую помощь, но еще при всякой встрече с людьми, даже и

совсем чужими, сам добросердно предлагал свои услуги, свои средства, иногда и над меру potrzeby и возможности. Так и гостеприимство его превосходило меру обыкновенного. Оттого-то в его характере сказывалось будто некое противоречие: из одной стороны, богомолец-то, истощающий себя на молитвах и постах, мало дбающий о земские блага своего дома, а наименьше о якие-будь выгоды для своей особы, с другой же стороны, он, аскет, при появлении гостей в своей хате оживлялся целый непритворным весельем, ставал будто насквозь светским человеком, к тому ж рачителем всех прещедрым и благодетельным майже до крайности. И не было ж для него большой радости, як если при таковых случаях его жена, хозяйка дому, в угождение его розбуялой воле отступала от своей системы щадения и не пожалела старанно присбиренных запасов поварин и пивинцы.

Из наведенной тут характеристики о. Алексия достаточно явствует, что для содержания и воспитания приходской родины в Дубне потребно было, кроме него, еще другой головы, которую и надал Господь той родине обильною мерою в лице матери Анны.

И поистине мать **Анна с Реваковичев Качковска** была-то женщина, як рассказывал о ней сын ее Михаил и як гласит предание дубнянских людей^{*}, изрядна не только яко добрая мать, славная хозяйка, но и загалом яко жена крепкого ума и надзвычайно могущой жизненности.

Тая последняя примета ей характера - надзвычайная живость - была главным свойством ее природы, отличительным наследием ее роду, ибо, як сама она звыкла была с гордостью говорить, «все Реваковичи не животели, но жили горячей крови житьем на том свете». От той живости матери Анны ходила - як то кажут - цела хата, обысьтье во всех кутах роилося житьем, а хозяйство и на крайних точках заедно подвигалось, было в неустанном действии. А всюда ж в том шумном оживленном действии был и правильный лад, и порядок, понеже мать Анна при своей пружистой энергии отличалась враз и великим быстроумием, прозорливостью, и расчетливым рассудком.

Для примера укажем тут коротко на ее дневную деятельность около хозяйства серед лета, согласно оповеданью сына ее Михаила:

Перед досветками она уже разбудила весь дом и, помолившись, раздавала раннюю работу челяди и детям, сама в тех работах участвуя. С восходом солнца паробки и полевые работники, заосмотрены всякими потребами снаряжья и стравы, отправлялись на лан, и закем они успели дойти-доехать на место своего назначения, уже мать Анна, упоравшись с другими занятиями около дому, пробегала

* О том упоминает нынешний парох Дубна о. С. Круликовский в своем письме ко мне из д. 29 дек. 1872.

- а весьма часто ехала скоренько на коне - за ними через село, тут разбужая спящих еще соседей, там выгоняя сама якую скотину из шкоды, а онде власноручно поправляя работу якой неловкой газды-ни-селянки.

Так, разбудивши и подохотивши до труда село до кола и забравши где-кого люзьного с собою, она уже и при своих работниках в одном поле - в другом, тут и там поощряя всех к работе живым примером и веселыми приговорками. На добрый час пред обедом она уже дома и в пекарне, где старшие доньки с малолетства поочередно заступали месце поварки; тут же она и в садку, и в пасеке, и в огороде, который во всех частях плекала с особенным замилованьем, производя из каждого кусня земли як наибольшие зыски. По обеде мать Анна снова то в огороде, то в поле, то на сеножате, всюду работу не только разделяя, доглядая, но в ней и сама живое привимая участие. Узнавши же в разговорах с людьми через день, где занедужала кому дитина, человек или даже что из домашнего скота, она под вечер повертала из лану звычайно по-при хату недуги для уделенья там доброй рады и леку. Тож все такие проходы ее через село рано и вечер были благодатны и для дубнянских людей, которые таки не кликала ее иначе, як «наша добрая мама».

А была ж се «добрая мама» тем больше для своих родных детей, из любви для которых она измогалась в трудах так на солнечном жару, як и в непогоду и лютую стужу. Бывало поздней осенью чи зимой, коли то плоды лета вывозятся на торги, мать Анна не пропустит ниякого ярмарку в доокрестных местечках, сама там торгует, сама продаёт свой огородовый плод на мерочки, а на укоризны легких мешанок отвечает с гордостью спартанки: «Се для моих детей - тою меркою выведу их в люди!»*.

Мимоходом скажем, что на таких ярмарках или на торгах мать Анна уважаема была у околичных людей наилучшею ценительною всяких предметов торго, и так продавец, як и покупатель всегда охотно «сдавались на ее крайнее слово», которое от всех сторон держалось незаводно справедливым. Так и случайные споры на торжищах или где-нибудь меж людьми умела она с наилучшим успехом усмирять, а то будь прилюдным упомнением, будь и якою уместною шуткою, яких у ее живого остроумия на каждый случай богато бывало в запасе. Для того ж и утвердилась о ней широко поговорка в народе: «Як загодит справу дубненская попада, не треба мандатора, ни цесарского суду!».

* Дословно по сказанию **Михаила Качковского**, который д. 3 л. мая 1872 г., т. е. на три месяца перед своей смертью, расповедал те события в родийном кружку моем в селе Смерекове под Жолквой.

Из любви для своих детей и яко добрая хозяйка мать Анна была и ошадна, а что до потреб для своей особы - даже скупа. С тем последним свойством она не соромилась признаваться перед людьми, знаючи каждый свой поступок, к тому относящийся, умно пояснить то соответной пословицей народной, то добитным толком в роде толков мудреца Диогена. Впрочем, строгая ошадность в том доме, состоящем из 8 членов родины и 12-15 людей челяди^{*}, тем больше оказывалась потребною, что, як мы говорили выше, о. Алексей по природной склонности своего сердца издерживал на гостину и на дела милостыни не раз далеко над меру возможности, затем исчерпываемые ним средства и засобы должны были заедно новым щадением из стороны прилежной хозяйки пополняться. А по правде ж, хотя такое исе наново повторяемое действие пополнения растраченных запасов походило неяко на сисифовую работу и могло было другую хозяйку наконец зразити, до крайности знеохотити, но для нашей матери Анны было се еще, так сказать, будилом до тем большей деятельности. Не только бо она весьма благодушно прощала о. Алексею его неумеренную щедроту, а еще бывало потешала себе шуткой, вот як напр.: «Доброго маю мужа: не даст жене изленети до веку!».

И шутка такая в ее устах выражала самую правду, ибо мать Анна ничем в свете не гнушалась так, як пороком ленивства. Едино за той порок она могла увлечься гневом против всякого, у кого его нашла, а при своей надзвычайной живости исполняла засуд свой над ленивым работником в одну минуту, наказывая, впрочем, его найчастейше в той способ, что прогоняла от работы, а довершала тую ж наскоро и исправно сама. И таковые наглые наказания ленивец принимал от нее без малейшего ропоту, мимовольно почитая справедливость и повагу ловкой судьейки.

В сожитии с людьми мать Анна была щиросердна, снисходительна и в каждом товариществе приятна так своим природным остроумием, як и изобилием своих практических знаний. Сама живая неусидчивость ее побуждала ее заедно к сообщению с людьми всяких сословий, всяких верств, а тое ж делало ее многосторонно товарищескою и исполняло приметчивый ум ее основным познанием света и его отношений. В обществе охотно уступывано ей преимущественный голос и слухано с любопытством особенно ее выходки, иногда весьма колкие, против роскоши житья, начинавшей тогда уже и в средних слоях жительство сильнее расширяться.

* У Качковских бывало тогда на стайнях по 15-20 пар коней, затем и челяди богато.

Из своей же стороны тако ж мать Анна любила прилежно внимати всякому разговору других лиц, легко переималась чувством беседующего, а при изъявлении якой остроумной или прекрасной мысли того ж приходила в сам живейший восторг. Именно прекрасную мысль, кем-нибудь высказанную, затверждала она глубоко в памяти, и даже по летах знала ее при случаю навести дословно та с ровно оживленным восторгом.

Вообще, женщина то была под всяким взглядом примечательна, а головные черты ее характера, тут побегом изображенные*, достойны уважения тем больше для нас по причине, что в них - настоящий прототип нашего бессмертного Михаила.

Сие очертание характера обоих родителей Михаила пополним тут еще наведением изустного о них предания, живущего и ныне у старших дубнянских людей и гласящего следующее: «О. Алексей и Анна Качковские, - как рассказывали старики села Дубна, тое за-памятавшие, - съехали из Самборщины на Дубнянскую парохию убоженько, таки одним конем; но вскоре за великим трудолюбием самой же матери Анны пришли до достатку. О. Алексей был священник дюже набожный, лагодного, тихого обычая, а людяный такой, что в селе уважали его за старшего брата, за батька. Мать Анна же газдыня была не то на все село, а на все околицы: жива и сподручна на всякую работу, чи то дома, чи в поле; сама и в хате, и на обыстье порается, держит лад, и на коне верхом объездит поля, и людей в селе учит господарить, и грошик щадит. Все-то старшие дубнянские люди еще живо памятают и добром за покойных поминают»**.

Согласно природе и под влиянием родителей, которых характерные свойства, як выше сказано, во многом были себе противоположны, развивались и воспитывались их дети, одно по преимуществу «вдавшись» в отца, другое - в мать, иное - созерцая образ обоих вместе.

Дети тии по своим летам не много отстояли от себе, ибо все шестеро родились в течение 10 лет, от 1795 до 1806 г., и як по особенному ладу рожества было в той семье детей три пары, т. е. три дочери и три сына, так выходил и той последовательный порядок в черзе, что по каждой старшей сестре следовал младший брат (**Фекла - Иоанн, Мария - Михаил, Юлия - Онуфрий**).

Из дочерей наибольше походила на мать живостью и быстром умом середущая Мария, на отца же лагодностью и щедролубием

* Тое предание дубнянских людей сообщил мне о. Сильвестр Круликовский, нынешний парох Дубна, в письме своем ко мне из д. 25 мая 1876 г.

** Тое предание дубнянских людей сообщил мне о. Сильвестр Круликовский, нынешний парох Дубна, в письме своем ко мне из д. 25 мая 1876 г.

наимолодшая Юлия. Найстаршая Фекла соединяла добрые свойства обоих родителей в умеренной степени.

Из сынов так найстарший Иоанн, як и наймолодший Онуфрий были похожи на отца, а то первый особенно по наклонности к рачительной, гостелюбивой жизни, второй же больше по влечению сердца к смиренности и богомолию. Только один середующий сын, наш Михаил, вдался почти совершенно в мать Анну, наследовавши от ней по преимуществу те три главные свойства ее: живую кровь, восторг для всего прекрасного и расчетливую бережливость житейских средств.

Сие надто сокращенное очертание характера шестерых потомков о. Алексея и Анны кажется тут майже вполне достаточным после того, когда мы уже немного ближе познакомились с обоими родителями. Предостает еще некоторыми чертами пополнить и тот образок домашнего житья родины славного нашего Михаила.

Первое воспитание получали дети сей родины почти исключительно от матери Анны, которая в собственном смысле была душой и головой дома. О. Алексей действовал на них больше только примером своей честной, богобоязной жизни.

Мать Анна приучивала своих дочерей от самых ранних лет заходить около их молодых братчиков, из которых каждый имел «свою» старшую сестричку, а в ней и свою «няню». Милый и прекрасный был то вид для о Алексея и для дубненской громады, когда дети те, уже немножко поподроставши, в Неделю и свято шли за матерью тремя постепенными парами в Божью церковь, где для удержанья покою в той юной громадке над каждым живейшим обовязаны были чувати брат или сестра спокойнейшего обычая.

Девчата все три, подрастая, привыкали, по распоряжению матери, поочередно не только к прилежным занятиям в пекарне и около огорода, где каждая плекала своя определенные грядочки, но, кроме того, с малолетства имели обовязок: держать в порядке всякое белье и оденье так свое, як и братчиков, очевидно, каждая «своего плеканца». За то братья, высылаемые по своим чергам в школы, одолжены были пополнять домашнее образование сестер наукой числения и краснописания.

Серед того семейного кружка, отличавшегося несвыклой многосторонностью характеров, приметно было одно обстоятельство, которое славно подтверждало правду, издавна в свете одобренную: что часто «экстремы к себе тянутся». Так именно полная энергии середующая сестра Мария над всех любила наймолодшего брата Онуфрия, отличного скромным и спокойным норовом, а найбільше резвый и живой юноша Михаил имел самую сердечнейшую симпатию

для najmолодшей сестрички своей Юлии, тихой и смиренной, як голубка. Тую нежную любовь для сестры Юлии сохранял наш Михаил в высочайшей степени до самой ее скоропостижной смерти (умерла она замужем в 17 весне жизни) и любил о ней даже на старости лет своих с особенным умилением упоминать.

Дородные девицы Качковские, богато выпосажены природой и достаточным венем родителей, одна по другой скоро выдавались замуж, а то все три за добрых, порядочных людей духовного звания. Найстаршая из них Фекла, повдовевши по мужу о. Якове Галецком, выдалась в другой раз за человека мирского звания, две же najmолодшие, Мария (†1846) и Юлия (†1820), померли перед временем, а их мужья-вдовцы оо. Георгий Галецкий и Петр Паславский достигли потом высших становищ в нашей иерархии, ставши приходниками и крылошанами - первый в Перемышле, другой во Ведни. Только по супругах Галецких остались в живых потомки, из которых трое лиц - Людвиг и Яков Галецкие (сыны Якова) и Людвика из Галецких Ганасевичева (дочь Георгия)* - пережили дядю своего Михаила Качковского и поминаются в его же предсмертном завещании (из 1864 г.). А сестра-любимица Михаила Юлия Паславска измерла бездетно в селе Боратине, переживши свое единственное дитяtko лишь на несколько дней.

Смерть той najmолодшей доньки Качковских, последовавшая в г. 1820, сильно поразила целую их родину, особенно же обоих родителей, которые по преклонности лет уже и сами приближались к своему гробу. И в 5 лет после сего печального случая, д. 30 юлия 1825 г., упокоился по короткой недуге сном блаженных о. Алексей на 60 году века, оставивши в народе милую память жизни праведника и деятельности примерного священника.

Мать Анна, оплакавши враз с прибывшими на похороны детьми кончину своего мужа, переселилась вскоре потом из приходского дома в свою собственную хату таки в селе Дубне, которую в прозорливости своей на несколько лет перед тем построила выгодно и окружила порядочно господарскими будынками. Тут она газдовала дальше своим ладом на сверх 20 моргах земли, набытых еще о. Алексеем для нее на случай ее вдовства, сохраняя все свойства жизненной природы своей даже до смерти, которая и постигла ее среди обычных занятий дня 9 марта 1829 г.**

* Другая дочь о. Георгия Галецкого, Каролина, пережившая также своего дядю Михаила, но не упоминаемая в его завещании, выдана за ц. к. судового советника г. Иоанна Феттера.

** Мощи о. Алексея и матери Анны почивут в одном мурованном фамильном гробе, при Дубнянской церкви построенном. В том же самом гробе

Приходником в Дубне по смерти о. Алексея с г. 1825 стал старший сын его Иоанн Качковский, женившийся и высвященный в г. 1821. Той же пробыл тут постоянно целых 40 лет (до смерти своей в г. 1865), действуя на благо своей духовной паствы с ревностью и посвящением, аки се доказал именно тем делом, что после 30-летней упертой борьбы с двором, наконец, создал хорошую каменную церковь и приходскую школу, какой перед тем в Дубне не бывало. О том примечательном муже придется нам еще больше упоминать в дальнейшем течении сего биографического очерка; а тут прибавляем только мимоходом, что по нем сохранилась в приходстве села Дубна довольно пространная «летопись» событий оного ж прихода, списанная ним на польском языке и содержащая, между прочим, любопытную повесть всех его борьб с колиторами, гр. Мерами и Потоцкими, веденных для защиты и поднесения местной церкви и школы русской. Из детей о. Иоанна Качковского остались в живых по его смерти только две дочери: Иоанна, вдова по о. Дудровичу, помершем також в Дубне в г. 1865, и Виктория, выданная с г. 1858 за о. Филарета Бачинского, приходника в Козлове около Бережан. О обоих не залишил упомянуть стрый их Михаил в своем завещании из г. 1864. Кроме тех двоих дочерей о. Иоанна, остался в живых еще и сын его Иоанн, не упоминаемый в завещании Михаила, а померший в звании отставного ц. к. офицера в Стрые 1875 г.*

Наймолодший брат нашего Михаила Онуфрий, постриженный в монахи по чину св. Василия В. и наречен Орестом в г. 1835, вел житье своему самоохотно избранному званию соответное, пребывая на молитвах в уединенной келье сперва Гошовского, потом (с г. 1840) Кристинопольского монастыря, где и скончался яко игумен и парох местного прихода в добровольном отречении от мира сего и от туземной родины своей в г. 1854.

ЮНОСТЬ МИХАИЛА

Дитинный век – до 8 года жизни - провел наш Михаил в родинном кружку в селе Дубне, от самой колыбели отличаясь чрезвычайною живостью и крепким здоровьем.

похоронены также сын о. Иоанн Качковский (†1865), жена его Кристина из дому Красносельска (†1843), малолетние дети и зять их о. Иларион Дудрович (†1865).

* По том братанку Михаила Иоанне живут и ныне в скудных обстоятельствах в Стрые жена-вдова и малолетний сын, тоже именем Иоанн, единственный из оной семьи еще всех переживший Качковский.

Первое, чему он тут научился, была молитва Господня из уст матери, дальше невинные русские песенки от сестричек и людей-челяди, наконец, азбука латинская и немецкая от старшего брата Иоанна. А немалый же то был труд для сего последнего - учить из книжки неусидчивого мальчика, который ежеминутно от скучного повторенья букв рвался то в огород, то в поле за мамой, любившей больше всех то резвое дитя - наивернейший образ своей природы. Не дивно, что не так до книжки, як больше до сиденья над нею мальчик имел свое природно умотивованное отвращенье; но зато всякое ученье наизусть было ему приятно и шло чрезвычайно легко.

В тую пору - в первых годах текущего столетия - уже во многих священнических домах русских беседа польска стала в разговоре «на покаях» преобладающей; тое ж было тогда и в доме Качковских в Дубне яко месцевости, смежной с мазурским западом Галичины, в суседстве ополяченных местечек. Мимо того мать Анна, пребывая майже постоянно в сообщевии с челядью и людьми села, обывкла большей частью говорить по-русски и «на покаях», и со своими детьми. Так и ее неотступный любимчик в самом нежном детстве щебетал почти исключительно только словом русским, а смотрел на свой польский *Elementarz* с некоторого рода тревогой. К тому любил он, яко звычайно все у нас такие дети, забегать часто в челядную избу, где особенно зимовую порою при вечернем лучиве, при кудели, поются думки, рассказуются сказки наши народные, чудно действующие на дитинное воображение. Тут он, хотя и як непосидущий, слушал всякую сказку с живым любопытством от начала до конца, и многое слышанное на таких «вечерницах» знал он мило пригадати даже на старости.

Яко 8-летнего «студента» мать Анна вывезла своего пестуна в первый раз из дому до нормальных школ в Лежайск, о 2 мили от Дубна отстоящий, где и поместила его в доме одной вдовствующей своячки, у которой перед тем пробывал тий же школы старший сын ее Иоанн (отвезенный теперь уже до гимназии в город Решов). Тут наш мальчик Михаил, быстрый на всякие новые впечатления, сейчас подобрал себе и ужился в мейской жизни, разнообразной в своих видах, шумной и подвижной на каждом шагу. Не так дуже однако ж подобрался сам он миролюбивой хозяйце дома, у которой жил на станции, а еще меньше старому, серьезного вида учителю школы лежайской, которому не раз аж жарко ставало от буйной живости малого Качковского. По своей бо природе мальчик наш изначала не успел ни на минуту усидеть в школьной лавце, а заедно вставал, вертелся, якобы «живые пружинки имел в целом теле». Только из взгляду на тое, что мать Анна была надто известная личность даже

в городе Лежайску, и что удалый ее сынок при всей наружной рассеянности всегда отлично знал свои лекции в школе, а при каждом вызове умел живо повторить слова и мысль учительского преподавания, - только из сего взгляду бывал строгий пан профессор супротив него вырозумелым и, наказуючи его иногда за шалости, не карал злою нотою в успехах его научных.

И тую вырозумелость своего первого учителя добросердный мальчик наш старался на дальшом течении школьного года вынадагородити постепенным усмириваньем своей надмерной живости, трудячись в том направлении над собой всеусильно, иногда, як то сам на старость рассказывал, даже в той способ, что «привязывал себе хустинкой или мотузком до лавки, дабы хоть часочек тихцем в ней посидети».

Привезши потом на вакации отличную ноту из лежайской школы в дом родительский, он привел в восторг мать Анну, а в немалое удивление о. Алексея, который на того «шалуна» надежд не полагал, а по крайней мере от первых лет его детства решительно и с некоторым жалем утверждал, что «поп из него не будет».

Окончивши нормальные школы в Лежайску, наш Михаил - уже 12-летний юноша - переехал враз с братом Иоанном до гимназийских школ в город Решов, о 6 миль от Дубна отдаленный, где оба они помещены были матерью Анной на станции у одного порядочного мещанина-русина, родом походившего из села Дубна. Тут новые явления больше развитой городской жизни еще сильнее заняли впечатлительного юношу, который и среди мазуров скоро удомашнился, особенно когда по своему искреннему дружелюбию находил в школе в каждом соученике доброго товарища, а в русской семье своего хозяина - милые пригадки о родинном Дубне.

Побыт его на науках в Решове стался вскоре еще приятнейшим, когда с г. 1816 назначен был о. **Георгий Галецкий**, за которым была его старшая сестра **Мария**, приходником в Залесьи - русском селе, только на полмильки от Решова отстоящем. С той поры не только о. Галецкий бывал почти еженедельно раз-два в городе Решове яко филии своего приходства, но и Михаил забегал таки пешки мало не каждой недели и каждого свята в соседнее Залесье, где у своей сестры был якобы у родителей домашним.

По тогдашней системе учения в гимназиях, кроме прилежнейшего упражнения в латине, не было тут для больше талантливового ученика довольно научной пищи, а посещение школы обмежалось тогда на 4 часы в трех днях, и только на 2 часы в двух других днях каждой недели. Затем и нашему Михаилу, одаренному легкой понятливостью и живой памятью, оставало после скоро заученных лекций еще

богато времени ежедневно, которым мог он распоряжаться свободно. А понеже резвая природа его ни на минуту не застаивалась, не терпела малейшего отпочинку, то успевал он каждого дня посетить дома майже всех соучеников, а уже непременно всех тех слабейшего таланта, которые нарочком помощи его в науках домогались.

Тая дружеская помощь в студиях, уделяемая по доброй воле школьным товарищам, повела последовательно к уделянью лекций за вынадгородою, якую ученики, особливо сыны заможнейших родичей, самы охотно за то предлагали. Наш Михаил принимал радо таковые лекции, раз для того, что и сам он упражнялся в преподаваемом предмете (особенно в латине), во-вторых же, и то головно, с причины, «дабы иметь занятие, а от бездействия не скучать». Собранный от тех занятий доход уважал он исключительным достоянием своего труда, радовался ним як дорогим сокровищем и сберегал его старанно в купленной нарочно на то глиняной пушке.

Так уже на первых годах студентского житья объявилось в нашем Михаиле и другое характерное свойство - наследие, природное с матери Анны, именно щадение приобретенных средств, уважаемое рационально первым основанием к житейскому благодобыту.

За сбереженные от лекций гроши он редко справлял себе якое роскошнейшее оденье, до которого, впрочем, як и до других «выгод тела», за весь век свой не много привязывал цены; частейше куповал он зато у еврея-антиквара книжки, которые по прочтении или дарил лучшим друзьям, или вез с собой на вакансии до Дубна, где больше занимательные отчитывал вслух своим любознательным сестричкам. Книжки же вообще были то, як он сам о них выражался, «сокровищем его сокровищ», большим от всяких благ вещественных, а враз и таким благородного свойства добром, которым он всегда «искренно рад был с другими делиться». Яко энтузиаст для всего, что в книжке нашел умного, прекрасного, он в тот же час жаждал загоревшимся оттуда восторгом своим воспламенять всякого, кого считал или предполагал до сего способным. Тож мало кажем, если выражаемся, что книжки свои он только «дарил друзьям»; надобно лучше сказать: он ревнительно «накидал им свой дар» с той усиленной просьбой, дабы тем же даром яко наилушим добром они на деле, т. е. прилежным чтаньем, пользовались. То редкое свойство даров приношения в книгах сохранялось в нем живо и до поздней старости.

Что до содержания книжек, за студентского времени для чтения ним приобретаемых, тое было степени умственного развития его соотвѣтно. Сперва любовал он себе в повестях сказочных и ужасных, якими тогдашня литература, как немецкая, так и польская

(переводная), была над миру богата (пригадуем Rinaldo-Rinaldini, Räuber-geschichten и пр.); потом, уже яко синтаксис (тогда ученик IV гимн. классы), читал он с убольшенным любопытством всеобщую историю и дела полезного научного содержания; в конец же не скорше, як в поэтице (тогда V класса), «влюбился» також и в поэзии. Не без цели кажем тут: «влюбился в поэзии», ибо то выражение точно соответствует оживленному настроению его чувства в том отношении, и оно еще больше оправдывается в дальнейшем рассказе о его жизни.

Примечательный был у него также способ чтения книжек, особенно в его юности: он почти никогда не читал, сидячи или даже стоячи на одном месте, но поспешно проходясь или таки «бегаючи» по комнате (и тут лишь зимой или в непогоду), а наичастейше под открытым небом в огороде или на местах прогульных. Только у мест в книжке больше привлекательных, прекрасных останавливался он на минутку в ходу, выражая при том внутренний восторг свой наружными движениями тела. Тож не раз случалось, что проходящие мимо люди, особенно необразованные, видячи нашего молодца, як он, держачи в одной руке книжку, другой делал живые движения и при том то усмехался с умилением, то воскликнул какое слово с восторгом, держали его за «чудака», за якого толпа людю вообще уважает всякого энтузиаста.

За чудака уходил он по части и у своих соучеников, однако ж в ином, самом ласкательном смысле, понеже поводом тому были его необмеженное добросердие и почти дитвиная доверчивость. Побуждаемый своим добросердием, он весьма часто принимал на себя не только грехи своих школьных товарищей, но также за тех же и кару, которая за тогдашнего времени бывала строжайша, чем ныне, ибо тогда в гимназиальных классах, особливо в низших, над кафедрой учителя еще висела плетенная нагайка («дисциплина»), грозная для «малых» грешников. Жертву такую из себя творил он охотно и безропотно, отчего дружья, веселые мазурики, называли его «kozlem obarnut», яким и был он на деле, посвящаясь добровольно за их пустоты.

Что же до его доверчивости, та происходила именно от его искреннего добросердия и была до такой степени наивна, что шутливые товарищи не преминули и в том отношении из него насмехаться. Так, например, один из них, приметивши, як легко он доверял рассказам о выдуманных припадках и оттого увлекался непритворным сочувствием, сложил на него «сатиру», из которой наш Михаил запам'ятав себе до старости следующее потешное двустишие:

Jakby w cuda Matki Boskiej
Wierzy w bajki nasz Kaczkowski.

И хорошо то еще было, когда школьные друзья над тем свойством благородной души юного Михаила только насмехались; в последствии времени люди не раз злоупотребляли его добродушием и легковерием, но, помимо того, таки никогда не успели подкопать оптимизма, в доброй природе его глубоко основанного.

Приходится нам упомянуть тут и о любовных его чувствах, которые в буйной жизни такого молодца развивались в сравнении еще не так скоро, як бы предполагать подобало, а то тем больше с причины, что наш юноша проживал свои «подлётные лета» в мазурском городе, где, як известно, развитие природы вообще происходит приметно скорее, чем у нас, в холодной Руси.

Первое впечатление любовной симпатии в самом чистейшем смысле дознал он таки в родительском доме, привязавшись тут нежнейшим, чем привычно братским чувством, к наймолодшей сестричке своей Юлии. Было то на вакациях по окончании Лежайских нормалок, коли та же сестричка Юлия, тогда 9-летняя, одного вечера запевала брату новозаученную народную песенку «У суседа хата бела», - а запевала с таким солодким выразом чувства и голоса, что восторженный братчик от умиления не знал, чем больше любоваться: хорошенькой песней чи милой певицей. От того времени родственная привязанность тех двоих детей крепилась и возрастала до искренних чувств любви, которая неизменно связывала их даже до преждевременной кончины Юлии. Примечательно в жизни нашего Михаила, что та первая любовь платоническая к сестре заронила в его вспылчивом сердце враз с замилованьем для русской народной песни, которое - то сперва неяко инстинктивное замилованье возмоглось до пламенной любви для поэзии в обширнейшем значении в то время, когда доспевающий молодец в высших классах гимназии найшел случай ближе познакомиться с плодами книжного стихотворства.

На студиях в Решове наш юноша имел больше способности сходиться с молодежью женского пола так в доме, где жил на станции, як и в домах соучеников-товарищей. Однако ж отношения те ограничивались лишь на нежном знакомстве, а не увлекали его до степени любви продолжительной, постоянной, яко такой из многих взглядов для «студента» вредной. Причина таких «мимоходных» отношений лежала собственно в его натуре, чрезмерно живой, неусидчивой, которая як с одной стороны не сотворила нашего Михаила меланхолическим Абелардом, ни мечтательным Петраркой, так с другой спасала от него всякую невинную Гелоизу и Лавру.

Немного больше занялся он тем чувством уже яко «слушатель» оной памятной для него «поэтики», коли то любовные элегии Тибула и Овидия в первый раз разогнули живую его фантазию.

А был он тогда на станции у одной мазурки-вдовы, матери троих дозревающих девчаток, у которых всех уже на думце был жених и корыстная женитьба. Тем-то девчатам любил наш «поэтист» то задекламовать с жаром який «амурный» стишок из Бродзинского, тогда улюбленного его поэта, то припевал яку русско-народную думку, толкуя принадным мазуркам слова, для них непонятные, то вконец исполнял наскоро где-якие прислуги в их работах, разумеется, для каждой из них с еднакою готовностью и охотой. Не дивно, что и тут, где вместо одной богданки было нараз аж «три грации», любовное дело також не ишло ловко – «якось не вязалось».

В тую пору было настроение души его до такой степени восторженно, что, як то сам сознавался, бывало в классе при самой жаркой декламации стихов перед лицом профессора иногда не ставало ему голосу, и орудия беседы отказывали ему своей службы на целую минуту (*haesit in ore lingua*); тогда, очевидно, сдавалось, якобы он заданной декламации не выучился, хотя дома знал ее на память отлично. Так случилось ему и в реторике (в VI классе) при изустном рецитовании Катилинской орации Цицерона, в которой после энергичного восклица вступных слов: «*Quousque tandem abutere Catilina patientia nostra*» он нараз замолк, стал совершенно безгласен, а учитель, не прождавши минуты расцепенения его языка, дал ему «*malam notam*» за незнание, несмотря на то, что именно сию славную Цицеронову орацию, тогда раз докладно научившись, знал повторить почти целиком еще и на поздней старости.

Скончивши в г. 1820 гимназийские школы с добрым успехом в Решове, он привез оттуда с собой в дом родительский в Дубно довольный запас знаний в каждой отрасли наук школьных, а, кроме того, еще сбереженный из даванных лекций грош в немалой на то время сумме 10 дукатов и 20 талеров, которые для дальнейшего сберегания поверил матери Анне.

В Дубне же на каждых вакациях Михаил, по своему обыкновению, принимался живо за работу около сельского хозяйства, ставал тут из студента, як он шутиливо выражался, «добровольным паробком у своей матери», громадил сено, ставил полукопки, свозил снопы и пр., исполняя всякий подобного рода труд не то для самой забавки, но в цели приспорения корыстнейших плодов жатвы. Только в дни Недельны и святочны предавался он литературе, призывая к соучастию в том же занятии також своих сестер (пока те не повыходили замуж), а дажо и челядь, для которых, проходясь по пекарне, читы-

вал в голос яку повестку или деклямовал стихи со свойственным себе энтузиазмом. В такие дни успевал он перебегнуть и село во всех направлениях для дружеского сообщения с сельской молодежью, которая «панича Михася» искренно любила и которая охотно прислуживалась ему пением народных думок, бывших для него всегда самым лучшим ума наслаждением.

На последних гимназийских вакациях наш Михаил враз с братом Иоанном (тогда богословом IV года) переехал в столичный город Львов для продолжения студии на так званом философском факультете, который тогда состоял из двух годов - «логики» и «физики» и, хотя причислен к университету, но был собственно только przygotowительным училищем для перехода в три настоящие университетские факультеты, якими были богословие, право и медицина.

С философского факультета начинался в то время для доспевающего молодца новый период жизни. Сам убо над меру внезапный переход в студиях по их содержанию и форме, який за тогдашней системы учения тут отбывался, производил в юных людях примечательное преобразование в отношении так умственного их развития, як даже в объявов внешности. Здесь-то скромненький «студент» гимназии, в которой, кроме латыни, обстоятельно и с довольною основностью преподаваемой, прочие гуманистические предметы предлагались лишь побегом и в весьма сокращённых очерках, - той «студент», который за опущение или незнание ежедневных лекций, за своеволие в школе, як и по-за школою, подвергался еще наказанию коленопреклонением, «карцером», а даже «дисциплиною», переходячи на философский выдел, ставал на раз «слушателем университета», где уже не учено наскучной грамматики, а выкладано (большою частью по-латине) с повагою и подробностями науки универсальные в обширнейшем значении, в числе которых первое место занимали логика, геометрия, физика, метафизика и всеобщая история. До того ж «слушатель» любомудрия, ставши в настоящем смысле только «слушателем» (Hörer, auditor), уже навсегда освобождался от «изустного заучиванья» ежедневных лекций, от всяких телесных наказаний, а даже от непременно посещения школы каждого дня, потому что и в сем взгляде профессоры-философы уважали не так на ежедневную прилежность, як больше на знание предмета в целости при курсовых испытаниях. От того «слушатель-философ», поровнявая себя со «студентом-гимназистом», из якого уже «вызволялся», чувствовал себя неяко высшего рода существом да от такого чувства «рос в гору», гордел и предавался иногда такому буйству, что приводил тем в движение, в беспокой весь город. Такой «философ» уже и наружным видом выражал буйную, почти дику

натуру, грозную особенно для полохливых жидов и филистров: он носил долгое волосье, в густых кудрях на рамя спадающее, запускал усы и бородку, закидывал шапку набекрень, чемарку на опашки, по городу ходил замашисто, с люлькой в губе, сукатой палицей по камням постукаячи.

То буйное житье философов с его свободой и небрежением школьного ригора пристало сразу сильно до сердца нашему Михаилу, и он с природным себе жаром кинулся подражать манерное поведение своих новых «коллег», которых тут нашел богатое число от различных сторон Руси и большою частью веком даже от себя старших. Первое, что здесь он яко «философ» сделал, было, что купил себе в еврейском склепе суковатую палку, с которой сейчас пошел за другими философами в «коллегию на прелекции» записаться. Дальше от той палицы не мог он в «философстве» нияк допроводити, ибо спиняли его в тех подвигах три значительные недостатки, свойственные в родине Качковских, - а то малый рост, отсутствие заросту на лице и отвращение к люльце. Ти и именно недостатки творили его «неизбираемым до компании философов великих» и, очевидно, самых буйных; а хотя он рад был сперва до той компании даже грошми вкупитися, но не принят мимо всех усилий, принужден был вконец пристати до так званых «философов-мальчиков», которые в классе сидели звычайно в первых лавках, а на улице не имели привилея буйствовать и шуметь. Затем единая философская привилегия нашего «мальчика» состояла в палце и немного долшом волосе.

Як отже из одной стороны дознал наш философ разочарования через непотешное зачисление в «мальчики», так из другой еще больше опечалился он на первых же днях своего школьного посещения трудности наук на философии. Несмотря бо на то, что он лучше, чем многие, подготовлен был в знании латинского языка из гимназии и что хорошо понимал тут на «логице» латинские преподавания знакомитых того факультета профессоров (як Нападиевича, тогда профессора философии, Кодеша - математики), но все-таки сам предмет преподаваний, совершенно новый и излагаемый в тонких абстракциях или альгебранческою методою, был сначала почти целиком непонятен для нашего молодца, ставшего нараз «любо-мудрецом», не бывши перед тем «мыслителем» в правильном того слова смысле.

Пришла затем для нашего Михаила пора сомневания, недоверия в свои силы, которое доходило было уже до отчаяния, так, что по истечении первого месяца, когда все еще «логика» была для него «хаосом абстракцийных букв и формулок», он решался уже от той «тьмы неспасенной» бегством спастись, но, к счастью, в то же время

попалась ему в руки якая-то немецкая книжка (яко есь Compendium der Philosophie), содержащая популярное изложение всех делов философского учения, которая преимущественно причинилась к разъяснению непонятного дотоль для него предмета. При помощи того «Компендия» и за прилежнейшим с той поры посещением школьных прелекций наш ободренный Михаил вскоре заохотился до философии, стал запускаться в живые «диспуты» с опытнейшими из коллег, приучился доказывать формулами - словом, сделался «философом» в значении тогдашней рациональной схоластики.

Труд его в том направлении был не без пользы для него, особенно из сего взгляду, что учился он «над собою мыслить». А раздумючи над своим «я» и задавая себе «философские» вопросы: «какой я? в чем мой характер? в чем цель моего жития?» - он уверился, что чрезвычайная живость его темперамента, доходящая до рассеянности и забудчивости, необходимо потребует преобразования, т. е. именно усмирения посредством неких правил в занятиях дня и в поведении жизни. Начал он затем сие дело своего преобразования от того, что принуждал себя целыми годами сидеть над книжкой, а из товарищей своих не посещал он теперь як одного - двух ежедневно, принимая при том в сообщении с ними вид больше серьезный «философа».

Подвиги тии, поднятые для усмирения надмерной энергии и непосидчивости, были поистине сначала для нашего Михаила весьма мозольны, стоили его много посвящения и насилованья свойств прирождённых; но они таки вконец допроводили до утешительных успехов. Пред истечением первого полугодия философии он уже привык до того, до чего не успевал привыкнуть за все лета гимназии, т. е. он возмог, сидячи за столом два-три часа в день или вечер, постоянно писать. И коли бывало в Решове ледва сдолол принудить себя, дабы два-три раза в год к родителям в Дубно написать письмо - вот в сих коротко словах: «Jestem zdrow – i upraszam o przyslanie pieniedzy na ten meisiac – Michał Kaczkowski», - то теперь высылал он из Львова в Дубно или к сестрам на село долгие «послания» в целый лист или два почти каждого месяца, расписуючись пространно и с философской замашкой о всем, что делал и что деется в столице. Такое упражненье в сочинении писем наиболее помогало ему в тяжелом труде его над собой, над развитием правильного его «мысленья».

Привыкши же раз до присиживанья над книжкой и над писаньем, он сохранял ту добрую привычку даже до окончания всех университетских студий, которые и самы тогда посидущой прилежности от слушателей своих вымогали, уже для того, что так на философии, як

и на других факультетах всеучилища в то время почти не было еще печатных учебников, а профессора прелеговали большую частью из «скриптов» и давали тии ж слушателям в их употребление переписывать.

Тож воистину с «философии» начался для нашего Михаила новый период жизни - период, совсем противоположный тому, яким он бывал для многих других «философов-коллегам»; ибо для тех бывал то период разбуйности, а для него - управильнения надто буйной природы.

На втором году философии (на «физице») посчастливилось нашему Михаилу получить лекцию в доме одного заможного помещика, некого пана Л.,* который в цели воспитанья двух своих малолетних сынов пребывал с ними через школьный год во Львове, а только на время вакаций переселялся в свое село около местечка Любычи Жолковского округа. Лекция та была для Михаила истинным счастьем - не только с причины, что нашел он тут помещение в честном порядочном доме, но еще больше для того, что помещик, вскоре полюбивши его яко прилежного и совестного ментора-«гувернера», условил его себе для своих детей на целых 5 лет, т. е. аж до окончания их гимназийских наук. Сие условие, с которым, впрочем, наш Михаил охотно согласился, имело на его будущность решительное влияние: ибо як из одной стороны оно, освобождая его от поддержки из родительского дому, обеспечивало ему выгодный быт на все лета университетских студий, так с другой дозволяло избрать после философии мирский факультет прав, до которого радо определяла его и родина, и он сам чувствовал в себе наибольшую наклонность.

И преимущественно ж оной лекции у помещика Л. от Любычи Михаил наш навсегда благодарен был за то, что вышел потом в знакомитые люди мирского звания, до якого нашим русинам-поповичам в тогдашнее время еще далеко труднейше было дойти, чем ныне, а то для многих важных препятствий; такими между прочими были особенно скудные средства содержания в священнических родинах, недостаток яковых - будь стипендий, а больше всего недостаток «протекций» для не шляхты и русинов в получении мирских чиновнических мест, до которых тогда без таковой протекции «вельможных» никак нельзя было и доступить. Для сих-то препятствий наши поповичи почти исключительно обмежались на посещение

* Бл. п. Михаил назвал мне раз того помещика по имени, однако ж се имя - кроме начальной его буквы - я ныне никак не могу пригадать. И мой шурин о. Гавриил Паславский, приходник Равы-Русской, родной брат бл. п. о. Петра Паславского, бывшего шурином нашего Михаила, знает также кое-что о оной лекции у помещика, но имени его тоже ныне не помнит.

факультета богословского и яко кандидаты духовного звания уже с философии помещаемы были на пропитании в духовной семинарии во Львове; на мирские же два факультеты, на права и медицину, только редкий кто из них успевал достатися, так, что, напр., во время оно на всех 4 годах прав в числе около 200 слушателей было враз с нашим Качковским всего-навсего лишь 6 русинов-поповичев, а на медицине (во Ведни или в Празе) не было ни одного! Тож и миряне-достоиники от Руси, як славный Ярына, Нападиевич, были тогда в краю феноменом.

Дивным отже случаем наш Михаил, благодаря приватной лекции в доме польского пана, благодаря долгу служебной неяко своей зависимости, поступил и причислен был тогда к «лику тех избранных» эмансипированных сынов Руси, которые, ставая «феноменом» в краю, имели статися предвестниками освобождения той же Руси от преобладания Польши в отношении чиновственном и национально-политическом.

Дневные занятия Михаила на физике и на правах умножились затем значительно так вследствие принятой оной лекции, для которой посвящал он по 3-4 часов ежедневно, як и по тому поводу, что никогда он не пропускал преподаваний на университете, отдаленном от теперешнего его жилища на четверть години ходу (дом пана Л. был где-то на «Зеленом»). До того ж обязан он был со своими элевами выезжать почти каждый вечер на прогулку, для которой-то цели на стайнях пана Л. стояла отдельная пара коней и кабриолет, отданы, впрочем, совсем в распоряжение «пана гувернера», который имел также свой вольный билет в фамильную ложу пана Л. в театре, на концерты и другие продукции, какие давались тогда проезжими труппами артистов в нашей столице.

Разумеется, такое пестро-оживленное занятие дня и вечера было як найбільше по сердцу нашему Михаилу, и он был тут серед того пружистого неустанного труда ума и тела, среди шумного, кипучего житья столицы як бы в «своем элементе». А хотя при таком способе дневной жизни приходилось ему иногда класти спать аж далеко под полночь, то таки каждый следующий день начинал он с неизменной бодростью духа, с властивой себе живостью чувств, вставая из постели всегда перед досветками, як до того привык был под оком матери Анны в Дубне с детства, да и на весь свой век. Такими-то поранками, коли в доме пана Л. еще все почивали во сне, наш Михаил пробегал со скриптами в руках по огороде, в слоту по коритарям дома, корыстая с той поры исключительно для себя, т. е. изучая задачи и лекции своего факультета.

Дом помещика Л. гудел особенно житьем в осени и зимой, коли

съездила сюда из села также сама помещица с дочками, сестрами и целым женским двором. Тогда-то начинались угощения, музыкальные вечера, забавы с танцами, до которых приглашаем бывал и наш «пан гувернер». Он же принимал участие в таких товариществах тем охотнейше, что яко энтузиаст вообще имел и для женщин весьма жаркое чувство.

Здесь-то случилось ему полюбить больше других нежно якую-то Юлию С., хорошенькую девицу, которая со своею матерью, женою одного высшего чиновника- немца, часто бывала в доме помещиков Л. Нежное сие чувство возродилось в его сердце тем случаем, что встретил он в помянутой девице много подобия с симпатичной личностью своей наймолодшей сестры того же имени, Юлии Паславской, которая тогда недавно что была умерла в Боратыне коло Ярославля (в г. 1820). Осиротелое по утрате улюбленной сестры сердце Михаила чейже само глядало да и нашло тут некоторое утешение в явлении красавицы, ей подобной, которая под влиянием немецкого воспитания и была для нашего гувернера больше снисходительна, чем другие девы того общества, гордые дочери Польши.

Впрочем, то нежное отношение, перерванное после выезда госпожи Л. на село через все лето, продолжалось другой зимы только до мясниц, ибо в те мясницы Юлия С. нечаянно вышла замуж за богатого дворянина, имевшего несколько камениц во Львове. Наш Михаил не был на ее свадьбе, однако ж и по той свадьбе не поступил себе як отчаянный Вертер Гете, а, напротив, был как всегда жив и весел, да еще ж от той поры стал заровно вежлив и сердечен для всех хорошеньких дев, желая всякой широдушно «счастливого замужества за богатого дворянина».

Уместно будет приметить тут, что в так буйно оживленной природе, какая была у нашего Михаила, редко случается сосредоточение чувств воедино, а частейше происходит многостороннее их разветвление - или, выражаясь терминами больше отвлеченными, чувства здесь не бывают индивидуально-субъективны (як были, напр., у Шиллера), но универсально-объективны (як у Гете). Ближнее пояснение такой универсальности чувств у нашего Михаила последует еще в дальнейшем очертании характера его яко зрелого мужа и старика, а здесь прибавим еще только, что даже в своей юности, в той поре мечтаний и идеалов, он не смог с субъективной исключительностью влюбиться в одну-единую женщину, как звичайно любят сердца с настроением сентиментальным, а любил в одно и то же время да с едналим чувства жаром все красавицы, любви достойные, как вообще любит всех добрых людей объективный оптимист, настоящей человеколюбец.

Оттого-то любовь его для женщин по такому расположению всего его чувственного организма бывала всегда счастлива, весело играющая; затем, очевидно, и находила она себе взаимность подобно-го же настроения веселого, игрового. То ж и любили женщины сего «радостно-восторженного аманта», не то с пафосом мечтательным, глубоким, а так себе для милой игры сердца, для забавки, да и потешали не раз себя и его различными незлобивого рода пакостями и шутками.

Так, одного разу сговорились домашние девчата панства Л. со своими гостями-подругами привести «милого пана гувернера» среди салона в «сон магичный» и вышли с ним на то даже в заклад о талерка в пользу убогих св. Лазаря. А избрали они до той забавки вечер после дня самого «рабочего», в котором Михаил наш имел был як наибольше заходов и занятия, был затем уже накрепко утомлён и в немалой обаве проигранья закладу. Несмотря на то, явившись в веселое товариство девчат, он весь ободрился и резвый, як на пружинках, забавлялся с ними даже к полночи. Во все то время игры с девчатами он не принимал от них ни подаванного чаю, ни тестечок, ни даже воды, опасаясь, чтобы они не примешали тут для него какой усыпительной микстурки, от которой в самом деле не трудно бы ему задремнуть и талерка потерять. В такой предосторожности и уверен в свои оживленные силы, он около полночи дозволил девчатам усадить себя посередь салону на пуховое кресло с поручьями, дабы так с шуткой выжидать «нашествия сна магичного». В ту минуту одна из девиц стала играть на фортепьяно какую-то сентиментальную мелодию в moll, прочие же красавицы позаседали на козетках по кутам, будто прислушиваясь музыце, а с тиха хохотаючи. Дабы их еще больше потешить, наш «магик поневольный», тоже усмехаясь, прислонился на пуховое изголовье своего кресла и удал будто «уже спящего». А столько ж то и было тут его бодрости и чуванья! Не магичный, а настоящий здоровенный сон с храпением охватил его мгновенно - и от той хвиле он не знал уже, что дальше творили с ним пакостные девчата. Только на досветках, в звычайную пору своего от сна вставанья, пробудился он на пуховом кресле посеред опустелого салона - и узрел тут себя, обставленного зеркалами, без чемарки, без чобот, а с высоким волнянным колпаком на голове, с вышиваным символами покрывалом от шеи до ног и с тростью магика в руке правой! Очевидно, еще того ж дня отдал он своего талерка на убогих у св. Лазаря, а целый дом помещика Л. имел на долгое время сердечную потеху сгадовати о том «магичном сне любого пана гувернера».

Подобные «комедийки» любили еще не раз заигрывать с ним молодые девчата в помянутом доме, и он принимал на себя в тех играх охотно какую-нибудь потешную роль, уверившись из всех поступков товарищек-комедианток, что они забавлялись с ним совсем беззлобно, для самой невинной добросердной шутки.

По уговору с помещиком наш гувернер обязан был на каждые вакации ехать с элечами в его поместье; но и тот обовязок вовсе не был для него тягостным, потому что и в сельском дворе пана Л. имел он всякие возможные выгоды, был уважаем якобы приналежным к родине, а к тому пользовался большой свободой в препровождении времени и в выборе улюбленных занятий. Такими же занятиями больше всего были содействие в работах хозяйских по привычкам из Дубна и прогулки по селе промеж люди, которых знал и посещал он почти всех от хаты до хаты, изучая у самого источника характер, обычаи, беседу и песни русско-народные. А селяне любили «доброе, людяного панича дворского» и горнулись к нему тем раднейше, что в оно время панщины не раз той панич, имеючи голос и влияние в дворе, особенно у самого пана Л., прислуживался им полегчением тягостей подданчих или же оборонял их от напастей эконома или мандатора. За то госпожа помещица, одна тогда в дворе закоренелая аристократка, уважала его «демагогом», да и то демагогом самой невредливой породы, ибо честные свойства души его и сердца были всем и тут надто известны.

Понятно, что с принятия лекции в доме пана Л. Михаил наш - помимо воли, а иногда и тоски сердечной - не мог навещать дом родительский в Дубне столь часто, как прежде, коли то из соседнего Решова бывало ездил туда не только на каждые вакации, но и на свята Роздвенские и Великодные. Теперь, за 5 лет своей гувернерки, был он там всего три раза, и то забавляя лишь по несколько дней у родителей, а на проезде по дню и у сестер в Порохнику и Залесьи. Зато не забывал он частейше писывать до милой своей родины, которая из каждого письма его с искренней радостью узнавала о добром его поведении и утешалась надеждами на светлую его будущность.

В году 1827 Михаил Качковский окончил правничие студии, и тогда имел он уже сбереженный за 5-летнюю гувернерку капитал в сумме сверх 1000 злр., большою частью в дукатах и талерках, которы и были коренным фондом значительного имения его, якое впоследствии возросло до суммы над 60 000 злр.

На том заключаем очертание юношеской жизни его, а следуючи далее в большой части тому же источнику - изустным его рассказам, приступим к изображению нашего Михаила на веку его мужеском до 1848 г.

МУЖЕСКИЙ ВЕК МИХАИЛА (до 1848 года)

Период оный мужеской жизни Михаила - собственно от 1828 до 1848 года - отличается не меньше многообразием примечательных переходов и событий, однако по преимуществу сосредоточивается в буденных занятиях в бюро канцелярийном да в дружеском сожитии с людьми всяких званий и сословий.

Еще на вступе своего полнолетия понес он болезненную утрату через смерть своего родителя о. **Алексея**, которая последовала дня 30 юния 1825 г. На несколько дней перед тем уведал наш Михаил об опасном недуге своего отца, поспешил затем из Львова в Дубно, но прибыл уже на похороны, которые при трогательном участии родины и народа отбылись дня 2 юлия того ж года. Печальное сие событие еще тем больше напоминало его шествовать путем жития о своих собственных средствах и силах...

До такого ж самостоятельного ходу дорогою жизни он, к своему счастью, имел уже способность привыкнуть на студиях во Львове, когда за получением лекции у помещика Л. добровольно отказался от помощи из родительского дома, отступая тую ж в пользу наймолдшего брата Онуфрия, тогда гимназиста в Решове.

Докончивши однако ж потом правничии науки во Львове, он нашел себе в немалом затруднении под взглядом вопроса: что дальше с собой делать? Предстояло бо ему выбирать из двух: или поступить сейчас в чиновную службу на «практику», или остати еще надальше на лекции у пана Л.

Из одной стороны уважал он потребу немедленного вступления в урядовую практику над все для себе важной, уже из самого того взгляда, чтобы не терять лет, которых, как известно, на цесарской службе числится 40 до выслужения целой пенсии (до пенсионования); а хотя такая практика в урядах бывала тогда по 2-4 лет бесплатна, но Михаил наш, имея уже сбереженный капиталик свой в сумме сверх 1000 злр., был на тот случай довольно забеспечен - и затем решился сперва стать «практикантом» при львовском или - в недостатку места тут - при котором-либо суде в ином городе Галичины.

Однако ж, из другой стороны, честный помещик Л., у которого условленное пятилетие гувернерки уже кончилось, полюбил нашего Михаила за его прилежание, благонравность и добросердие так искренно, что не хотел его никак от себя отпускать, а на всякий случай старался даже повышением годовой платы задержать его во Львове, где при суде места практикантов были вправде все тогда заняты, но таковое могло было в течении времени таки отворить-

ся. На то, впрочем, корыстное предложение не склонялся сначала Михаил наш наиболее с причины, что и на случай приобретения тут практики сомневался он в возможность совестного исполнения двоих неяко служб, а «жить на ласце» не пристал бы он хоть бы у як доброго пана. Только се одно предложение пана Л., что на следующую весну тот же выправит его с дорастающими элевами в путь в Швейцарию, - то привлекательное предложение едино побудило вконец Михаила приостати еще и дальше на выгодной гувернерце у помянутого помещика.

Случилось бо в ту пору нашему Михаилу прочитать несколько книг славнейших туристов, описавших в занимательный способ свои путешествия по Европе и другим сторонам света, - да от того чтения воспалился его живовосторжимый ум до такой степени, что о ничем другом не мечтал он тогда, як о путешествиях в далекие свету. Тож и оный план поездки в Швейцарию, предложенный помещиком Л., пристал так дюже до его сердца, что за-для него покинул он всякие иные взгляды, а немедля заинсталовался наново в доме своего благородного рачителя.

С горячковым нетерпением выжидал он затем лета 1828 г., и в самом же деле, на последних днях юния того же года отправился он в путь со своими элевами и вместе с одним лекарем, который яко друг дома пана Л. принял был на себя обязанность руководить сынов его, не отличававшихся здоровьем, на том санитарном их путешествии в Швейцарию. Севши на почтовую повозку во Львове, они по истечении трех дней заехали в Краков, где пребыли два дни, осматривая достопамятности сего когда-то престольного города давной Польши, потом переехали мимо Берно в Ведень, остановившиеся тут в пути на одну неделю. Во Ведни посетил наш восхищенный турист своего шурина о. Петра Паславского, тогда сотрудника parroхии при тамошней русской церкви св. Варвары, за руководством которого он тем лучше ознакомлялся с великолепною столицею державы. Из Ведня наши путники ехали мимо Линц, мимо Монахию и земли Баварии к подгорскому местечку Линдау, откуда переправились Боденским озером в Швейцарию. Пробывши в Цюрихе снова одну неделю, посещали они его окрестности, пленяясь на каждом шагу величием и красотою северношвейцарской горской природы. Оттуда пустились они горами мимо Бернский кантон в Лозанну, полонину над Женевским озером, и тут остановились на целый месяц в одной из прекрасных вилл над реченым озером - на теперь собственно целью их швейцарской поездки. Окрестность-то, як известно, богатством, многообразием видов и красотою южной природы сама пленительна в целой Швейцарии, воодушевлявшая туристов и

поэтов всех сторон образованного света, которые издавна (особенно же со времен Жана-Жака Руссо) сие озеро избирали себе целью своих путешествий и воспеваний.

Кругом оно-то Женевского озера наш Михаил, не имея в своих спутниках равных себе силами и здоровьем товарищей, оставлял их на купелях и прогулках в окрестности надбережных вилл, а сам, большою частью даже без местного проводаря, прохаживался, или, собственно говоря, пробегал по вершинам Альпийских гор, раз запускаясь на запад меж стромкие скалы Юра, другой раз на юг к роскошным Савойским, то, наконец, на восток к настоящим швейцарским Альпам. Тут взойшел он и на гору св. Бернгарда, славную своим гостеприимным монастырем, где человеколюбивые монахи при помощи своих редкого свойства собак посвящают себя спасению людей от гибели посреди гор, часто навешаемых снеговиками и обрывами грозных лавин.

Впечатление, какое дознавал он на всех таких трудивых, иногда даже опасных прогулках в горах Юго-Западной Швейцарии, превосходило далеко меру его воображения, кормленного перед тем только описаниями - слабыми копиями живых видов, которые теперь наглядно представились восторженным насквозь его смыслом. Сия затем первая поездка в дальнюю страну, поднятая не то по собственному замыслу, а по счастливому случаю, возжегла в нем навсегда до подобных путешествий сильную охоту, которая в последствии времени стала у него пристрастной настолько, что, как сам он не раз о том выражался, «за сближением каждой весны сердце его рвалось в дальние края, мовь тая перелетная птица рвется о своей поре далеко лететь на вырай...».

Повернувши из Швейцарии, он уже не медлил поступить на практику при краевом карном суде во Львове, оставаясь, по настойчивому желанию пана Л., еще и на дальшее время в его доме. А решился же он практиковать не в ином яком уряде, только при суде, по тому ж самому побуждению, по какому еще и доныне русины - юристы судебную практику преимущественно себе избирают, именно по поводу большой независимости судейского становища, которое легко обходится без так званых «политичных протекций», бывших за тогдашнего времени во всех других чиновных дикастериях весьма влиятельными и необходимыми.

В году 1829 в месяце марте поразила его весть о кончине матери **Анны**, которая после короткой болезни упокоилась в Дубне (дня 9 марта) и там же похоронена в гробе вместе с мужем о. Алексеем. Вскоре после того опечалила его и другая весть об ондовении найстаршей сестры Феклы, которой муж пр. о. Яков Галецкий на 46 году

житья упокоился в своем приходе Порохнику дня 19 марта того ж 1829 г. Получивши обе те вести уже по похоронах, не возмог добросердный Михаил воздать последнюю прислугу тленным мощам даже своей искренно любимой матери, а оплакивал ее страту в отдалении, освящая память о ней милыми згадками всегда и до старческих лет своих...

Только летом того же года посетил он свое родное село Дубно, где уже пятый год на приходстве был старший брат его о. Иоанн, который, кроме обязанности содержания своей власной семьи, имел попечение и о овдовевшей сестре Фекле, и о наймолодшем брате Онуфрии. Помолившись примерно у гробов родителей, собранные тогда почти все живущие еще члены родины Качковских потешали себя взаимно воспоминаниями о минувшем и надеждами на будущность. В тую пору зашла между братьями также беседа об оставшемся по матери Анне наследии (остались по ней дом, хозяйские будынки и сверх 20 моргов поля), да при той способности наш Михаил, которого доля доходами из лекций была довольно обеспечена, отказался своей части наследия в пользу брата Иоанна*.

С осени 1829 г. начинается собственно его канцелярийная жизнь, какую он сам себе был избрал, хотя, как то постараемся дальше указать, тот выбор не вполне отвечал его природе, ибо тая предназначала его скорее на управителя какого большого воспиталища, на наставника молодежи вроде знакомого педагога Песталоция.

И поистине, на первом же вступе в канцелярийное бюро уверился наш Михаил, что мимо своих усильных трудов над собою, поднимаемых на студиях университетских в цели «поборения своей непосидчивости», та же цель еще далеко не была им достигнута. Приходилось бо тут не так, как перед тем по године - две, но по 5 и 6 годин каждого дня постоянно сидеть, а се с начала было для него до невытерпенья. По несколько раз убегал он затем от канцелярии, решаясь больше до ней не вертати**, однако ж только мысль, что за окончаньем правничих студий не было для него, кроме канцелярии, другого прибежища, а к тому и взгляд на свою родину, которая больше рада была видеть его судейским чиновником, принуждали его завертати назад к раз обранному званию - к сидячей жизни в бюро.

Единое, что он тут для полегчения своей доли успел выеднати себе у своих настоятелей, было то, что ему дозволено вместо обык-

* Наследие матери Анны, сохраненное почти в целости, есть ныне собственностью младшей сестры о. Иоанна, вдовы по о. Ил. Дудровичу, живущей с 3 детьми-сиротами в городе Бережанах.

** Через то практика его была несколько раз прервана, а время ее не вчислялось в лета службы.

новенного бюрового стола употреблять пульпит, при котором писал он, стоячи или приседая только хвиеливо на так званом пульпитовом конику. Тую привычку - писать при пульпите на стоячки или на конику - сохранял он и до поздней старости.

Трудно то было ему на первых летах практики даже за таким полегченьем в способе писанья привыкнуть до пребывания почти по целым дням в затворе бюро, и случались не раз с того поводу неприятные столкновения с настоятелями, которые для тогдашнего практиканта, переводимого еже несколько месяцев из одного бюро в другое, часто сменялись и бывали большою частью закоснелые бюрократы, строгие наблюдатели внешних форм даже в способе канцелярийного писанья. Ведай не в каждом бюро находились пульпиты; надобно затем было нашему практиканту при каждой смене бюро прежде всего о «привилегию» поседанья пульпита стараться, потом же каждого нового настоятеля со своею необычайной живостью освоять и вырозумелым для ней сделать, что у таких людей нелегко ишло и не всегда удавалось.

То ж паны бюрократы, особенно старые подагристы да ипохондрики, с очевидным недоверием смотрели на сего «пульпитового» практиканта, который вечно стоячи писал и читал, а для собрания летучих мыслей своих по 10 раз на годину поспешно прохажался по канцелярии, то по коридорам, как бы якої загубы глядаючи. По той причине они часто подвергали строгой контроле канцелярскую его работу, которую однако ж всегда находили в наилучшем порядке и с наибольшею точностью исполненную.

Отличался бо наш Михаил также и тем примечательным свойством, что, помимо выдающейся поверхховной рассеянности, помимо внешнего беспокойя всего своего организма, никогда не терял из виду головной мысли своего занятия, а всякую работу свою творил, вправде с малыми перерывами, но все-таки скоренько и точно доводил ее до конца. Потому-то даже и найстрожшие бюрократы, хоть и як сначала недовольны внешним поведением в его практике, в конец таки приневолены были своею совестью выдавати за его труды хорошее свидетельство.

Яко оптимист с природы, вскоре привыкающий уважать и всякое состояние, в якое вступил, для себе добрым, наш бесплатный практикант за недолгое время сжился с наскучным бюро, как бы в нем и для него был родился. Сношения и пересправы судового чина с премногими людьми различных сословий и характеров ставались для него чем раз больше занимательны, и он радовался особливо тем увереньем, что на никаком факультете не изучится психологии по теории и практике столь основно, як в канцелярии суда карного. А

в познании людей успевал он здесь тем лучше, что не то из привычки, а по влечению сердца любил с людьми как наиболее общаться.

Так прошло первое время его канцелярийной практики, ставшей теперь для него уже приятной.

В конце г. 1829 наш Михаил выпровадился окончательно из дому пана Л., дальнейшее пребывание в котором походило уж теперь в его очах на житье о «панской ласце» - хотя, впрочем, того никак не давано ему тут приметить, а, напротив, старанося год за годом больше его к себе привязать. Несмотря на то, он опасался далее от такой «дворской» жизни изнежиться, а еще далее изленети, чем гнушался зарано, как бл. п. мать его Анна. Затем, якобы повинувшись загробному упомнению блаженной покойницы, которая всегда призывала свои дети до спартанского способу житья, он не дал себе уже надаль сдерживать помещику Л., а, попрощавшись вежливо с целым его домом, переселился куда-то на «Подзамчье» в малый домик с огородом, где устроился своим питоменным ладом, простым, а здоровой натуре его сходным. Тут-то, споживая только раз в день вареные стравы на обед, едал на снеданье и вечеру разовый хлеб с сырым молоком или овощи. Спал же на самой твердой постели, накрываясь лето и зима легким ковриком; так и оденье носил в каждой поре года легкое, а выгодно скроенное до скорого ходу.

Устроивши таким образом свой самостоятельный быт, он наглядно здесь уверился, как то небогато стоит для одинокого человека житье без вымыслов и избытков, а как то полезно и здорово до такого житья навсегда привыкнуть.

Вставая, по своему обыкновению, все раненько перед светом, он имел довольно дня для занятий своего чиновного звания, для дружного сообщения с суседами - жителями «Подзамчья», да и для живых прогулок по Высоком Замку, по огородам и лесистым устороньям за городом. На таких-то прогулках он пивал свежую воду из каждого жерела, с каждой студни, якая по дороге встречалась, нося всегда при себе для той цели кожаный ковшичок.

А чтобы особенно бодрое время поранков без доходной корысти для себе не проводить, принял он снова несколько лекций в таких только домах в городе, где мальчишки до науки готовы были вставать раненько. В такие-то дома забегал он на досветках и, побудивши сам своих учеников, брал их в погоду с собой под Высокий Замок, где с восходящим солнцем давал им лекции, стоячи или с ними середь зелени дерев весело прохажаясь. Корысти из тех поранковых наук были для детей велики да и для него приятны и доходны, потому что сами доходы из них выстарчали на его скромное содержание, и не потребовал он нарушать на то свое старанно сберегаемый капиталик.

В бюро канцелярии являлся он каждого дня первый, выходил из него последний. Но, помимо своей незапереченной способности, правосудных знаний и прилежания, не успевал он тут еще долго достигнуть ни даже самой низшей посады с годичным жалованьем. Благодаря тогдашним скудным отношениям финансов державных, яко и канцелярийному шлендриану, пробыл он при карном суде еще два годы бесплатным заставовым практикантом, т.е. всего разом около 3 лет. А несмотря на то, он яко настоящей добряк (оптимист), доволен всем, что на Божьем свете людям дается, не вырекал никогда на свою судьбу, не допрашался ее получения, не старался о ниякую протекцию так в то время, як и за все течение своей долгой жизни. Оные три лета практики употребил он на приготовление к статским испытаниям, которые и тогда вымогались для достижения чина в судейской службе, а которые сложил он в течение года 1831-1832.

Имеючи свободу отбывать свою бесплатную практику при котором-либо суде в Галичине, Михаил наш переехал в осени 1830 года в город Решов, где в самом близком суседстве - в Залесьи - жила сестра его Мария за приходником о. Георгием Галецким. Обитая частью в Решове, частью у сестры в Залесьи, он практиковал при ц. к. карном суде решовском до начала 1832 года, по чем вернул назад во Львов в цели приобетения посады судового акцесиста.

Только в марте года 1832 получил он царский декрет на найнизшую посаду судейского акцесиста, сперва бесплатного, потом (от 1833 года) с жалованьем 200 злр. мон. конв. в год, в котором-то звании сложил он на дни 19 марта оног же года торжественно присягу в зданиях карного суда львовского. С того же дня начинается его судейская служба в официальном того слова значении. Яко акцесист определен он был на службу к апелляционному суду во Львове.

Як и маленькое было первое жалованье нашего акцесиста, но он возрадовался ним и возблагодарил от искреннего сердца Богу как бы за наслание надзвычайной благодати свыше. Теперь убо начал он вкушать первый плод своего прилежного, а к тому для него немало тягостного труда в бюро - таковой же первый плод, известно, на молодой поре жития всегда бывает вкусу наймилейший.

При тогдашней дешевизне житейских засобов вообще, при истинно спартанской простоте жития-бытия нашего Михаила в особенности, сама одна половина той годовой платы достаточной казалась ему для заспокоенья скромных потреб его на весь год, а другую половину (100 злр.) возмог он щадить на улюбленную цель своих снова отживших мечтаний - на путешествия в далекие края, если на то удастся выпросить у властей довременный отпуск на 6 недель или хоть на месяц.

Уместно будет упомянуть тут, что первобытная цель щадения так доходов из лекций, як и одной половины чиновнического жалования, была у нашего Михаила именно лишь тая: собрать средства для поднятия путешествий за границу. Но понеже такового путешествия за-для трудности получения одномесячной отпустки чиновнику нельзя было предпринимать, как один раз на два-три годы, а наш Михаил даже в случае путешествия успевал обходиться малыми издержками: то сберегаемый для той цели грош его убольшался ежегодно и составил за дальшим авансом на царской службе уже в году 1844 сумму около 6 000 злр., которая-то сумма, вложена до краевой щадничой кассы (тогда чтонно во Львове открытой), приносила самых отсоток 240 злр. в год, затем о 40 злр. больше первой платни судового чиновника. Капитал тот и проценты возрастали тоже до размеров далеко над потребу того, что он выдать мог на путешествия. То же коли в памятном году 1848 имение то поднеслось до суммы 13 000 злр., а возродившаяся к новой жизни Русь наша затребовала от сынов своих большого посвящения в силы и жертвах, восторженный русским народолюбием Михаил надал своему щадению высшую цель, як о том будет рассказано подробнее в своем месте.

Первоначально (до г. 1844) та операция щадения ограничалась на самом складаньи невыданного гроша, а сложенная на первые два-три тысячи сумма причиняла сберегателю немалую журбу. Не только бо что сумма она, доколе касс щадничих ни ценных паперов (акций) в краю еще не было, не приносила никаких отсоток, но еще бывал с нею клопот: где ее подети, где беспечно схоронити? Деревянная скриночка - единое наследие Михаила по матери и первое хранилище всего больше ценного - хотя и была хорошо кована и под двойным замком, однако не обеспечивала ни от огня, ни от злодея, который, закравшись коли случайно в комнатку, мог был то сокровище в одной руке унести. Тоже для предосторожности, особенно от злодея, наш молодой чиновник-«богач» менял червонцы и сороковцы, тогда наибольше в обегу бывшие, на царские банкноты по 100 и по 1000 злр. мон. конв. и носил тии же всегда с собой в кожаной торбинце под сорочкой на грудях. С таким «omnia tесит porto», посбившись журбы, ездил он и на урядовые комиссии, и отбывал путешествия за границу.

Начавши свою службу при цесарском суде, как то кажут, «с простого», наш Михаил в сравнении с некоторыми так званными «детьми протекции» авансовал весьма медленно. Так пробыл он на наинизшой посаде акцесиста при апелляцийном суде во Львове всего только 1 год и 3 месяца; но зато, поступивши на д. 2 юлия 1833 г.

о один степень выше, на посаду судейского авскультанта, сперва с жалованьем 200 зр., потом 300 зр. мон. конв., служил авскультантом целых 7 лет, т. е. даже до окончания 1840 г.

В том звании авскультанта перенесен он был в г. 1833 в самборский окружный суд, куда с охотой переехал яко в страну, уважаемую гнездом и колыбелью обоих его родителей.

В Самборе - сем когда-то престольном городе владык русских - он скоро ужился, удамашнился так, як перед тем нигде-инде. Сам воздух того приютного города, овеванный дуновениями от чистых вод Днестра и свежестью от недалеких Подкарпатских гор, действовал на нашего Михаила крепительно и ободрительно, а в окрестностях Самбора жили тогда еще люди, тут родственники по матери Анне, там по отцу Алексею, витавшие молодого чиновника от своего роду с искренним дружелюбным сердцем.

Тут-то, в самом Самборе, застал он власне тогда парохом пр. о. **Андрея Петрасевича** (рожд. в г. 1771), бывшего что-ино недавно (до г. 1832) приходником в Лежайску и настоятелем Канчужского деканата, затем мужа близко знакомого еще из Дубна, где той же в доме Качковских часто бывал и нашего Михаила знал от лет дитинных.

В близком же соседстве Самбора проживали тогда поважные веком и значением священники: в Кoble-Старом - родной брат матери Анны Качковской **Автоном Ревакович** (рожден еще в г. 1769), в Чукове - **Трофим Качковский** (рожд. в г. 1779), а дальше оттуда в Михалевичах, коло Рудок, - **Поликарп Качковский** (рожд. в г. 1776), в Новоселках Гостинных - **Наркис Ревакович** (р. в г. 1798), сын Автонома, с которыми, яко со своими сродниками, наш Михаил радо дружился с первого же времени своего прибытия в их окружный город. Почтенные люди те принадлежали к «товариществу» так званых старосамборщан, которые все отличались непритворным добродушием, жертволюбием, а найпаче «крепким постоянием друг за друга». В челе сего «товарищеского союза старосамборской земли» стояли в то время знакомитые три Василия, пользовавшиеся доброй славой и повагой также и за пределами своего округа: были то именно **Василий Яновский** (рожд. в г. 1762), парох Гордыни, тогда яко найстарший священник деканата, уважаемый патриархом духовенства в Самборщине и доживший патриаршего веку (упокоился в г. 1846 на 84 году жизни); **Василий Лавровский*** (р. в 1782 г.), приход-

* По свидетельству одного из самборских друзей Михаила, именно о. Иоанна Коростеньского, был тот же «Василий Лавровский изряднейший богослов и отличный грек, всегда молившийся из греческого молитвослова. Он был братом кр. Иоанна архидиакона Перемышльской капитулы, а стрыйком известного сов. Юлияна».

ник в Ольшанику (потом в Торчиновачах), отличавшийся не толиким, правда, значением, но больше постоянным характером, чем впоследствии братанич его, известный советник апелляционный и посол краевого сойма **Юлиан**; наконец, **Василий Товарницкий** (рожд. в г. 1795), парох в Сельце Мокрянского деканата, но с г. 1832 настоятель Самборского деканата, муж основно ученый, особенно отличный в знании классических языков, с которым, яко из них наимолодшим, наш Михаил вскоре завязал самую нежную приязнь.

Влияние от тех людей-авторитетов Самборской Руси было на нашего молодого чиновника благотворно наибольше из того взгляду, что в сердцах тех же стариков жило еще традиційно почутье русской народности, которое объявлялось в беседе и в делах их резкой оппозицией против Польши. Затем случилось тут такое, что наш Михаил, проживший юность свою в мазурском городе Решове, а молодецкия лета в доме польского пана, хотя ни тут, ни там никогда не увлекся польским патриотизмом и на восстание Польши в г. 1831 смотрел целком безучастно, то лишь теперь, за прибытием в Самбор, при самом первом столкновении с репрезентантами нашей старшей Руси, начал с большим вниманием застановлятися над международными отношениями нашего края – и, очевидно, яко русский попович почувствовал себя здесь по национальности русином. В последствии времени то почутствие, в Самборе по раз первый в груди его зароненное, стало глубоким самосознательным чувством, в конец же и головным принципом жизни, произведшим плоды самые утешительные для возродившейся Руси.

Обмеживши сперва свое сообщение на кружок тех и других русских людей из соседства да на несколько больше симпатичных лиц из среды молодых чиновников в Самборе, наш Михаил пильновал, впрочем, прилежно канцелярии, в которой старшие чиновники, великою частью фаворизованные немцы и чехи, налагали звычайно наибольший труд на молодых, а способных авскультантов. Одним же из способнейших авскультантов уважаем был именно он, Михаил, который, свежо прибывши из Львова с хорошими свидетельствами, принимал на себе без малейшего противоречия, а с видимой охотой самые труднейшие судебные дела, желая достигнути тем не так отличия у старшин, як больше основных познаний в круже своего действия.

Среди тех-то канцелярийных занятий не раз он, увлеченный занимательным предметом судовой пересправы, весь погружен в раздумыванье над ее разрешением, с живым поспехом прохажался то по комнатам бюро, то по подворью, то по улицам города, обращая на себя внимание людей, как когда-то за студентских времен в Ре-

шове, где по поводу подобных прогулок с книжкой в руке прохожие считали его «чудаком». Такой незавидной славы, особенно у просто-народа, достиг он теперь и в Самборе, да тут еще больше с причины, что на самотных прогулках по улицам здешних предместий он весьма часто заглублен в разбирательство трудной якой sprawy, произносил не лишь поодинокие слова с восклицом, но таки разговаривал сам с собой в голос, якобы истязая перед судом спорящие стороны. Таковые монологи, ставшие и на позднейших летах его привычкой, особенно в судебных занятиях, доказывали власне, как интенсивно переимался он делами своего звания и с каким напряжением умственных сил переводил он в себе борьбу мнений для издания справедливого засуда.

Так оными монологами, как и спартанским способом житья, устроенным целиком на тот же лад, как во Львове на Подзамчы, приобрел он также и в маломещанском городе Самборе название настоящего чудака, за якого уходил он у людей, позорно судящих или противной русинам партии, даже до своей старости. И наш ославленный «чудак», никогда никому не вредивший своими поступками, за якие тем прозвищем окрещен был, переносил тот нелестный эпитет без гнева, без журбы, утверждая всегда в доброй вере, что не всем людям следует жить-быть на одно копыто, а всякий да живет себе так, как ему добро и как природе или целям его соответственно.

Следующую по первом швейцарском путешествии поездку за пределы Галичины предпринял он уже из Самбора, и то не скорше, как летом 1834 г., коли удалось ему тут в первый раз на царской службе получить отпуск на 4 недели. А понеже ту дорогу он из ошадности отбывал приватными оказиями, по части даже нешки, то добрался он тогда только до Ведня, где при помощи и руководстве своего шурина о. Петра Паславского, духовного сотрудника при церкви св. Варвары, близше познакомился и с великолепной столицей, и с прекрасными ея окрестностями - близ царских летних дворцов, в соседних горах и над Дунаем. Таковые путешествия до Ведня, ставшего для него улюбленным городом, предпринимал он в последующих летах почти за каждым получением нескольконедельного отпуска, чи то случалось летом, чи осенью, да за каждым разом делал оттуда все новые поездки в города Верхней Австрии, в Стирию, или по Дунаю к пределам Угорщины, раз даже в Триест и Венецию.

С г. 1835 произошла в составе русского приходства города Самбора перемена, которая и на нашего Михаила была не без особенного влияния. Почтенный настоятель того же прихода о. **Андрей Петрасевич**, 64-летний старик-вдовец, стал в то время соборным

крылошанином и яко такой переехал на свое новое достоинство в Перемышль. Заведательство прихода Самбора передано было по нем дотеперешнему сотруднику того же, о. **Иоанну Дудкевичу** (рожд. 1810), молодому, а хорошо образованному человеку, который только что в г. 1834 кончил св. богословие; а духовным сотрудником в его местце в Самборе настал теперь отлично образованный о. **Иларион Ильницкий** (р. в г. 1810), рукоположен в иереи того же самого 1835 г. Управление сего великого приходства перешло затем в руки двух ровновеких юных людей, которые, принявшись за дело со свежими силами и молодецкой ревностью, внесли также в товарищескую жизнь города новые стихи и больше развитое движение с приметами русско-народного характера.

Тогда убо молодежь русская уже начинала проникаться духом своей питомой народности, и по воздуху нашей Руси стало веять якобы леготом-предвестьем сближающейся весны, которая заповедалась уже проявлением первых цветков - песен, пленяя ними прежде всего юные сердца. Еще в г. 1821-23 начали появляться в львовских повременных изданиях, как был альманах «Der Pilger von Lemberg» и журнал «Pielgrzym Lwowski» (издаваемый знакомитым проф. Иосифом Маусом), поодинокое русско-народные песни с приложением нот и соответными предисловиями-росправами, составляемыми то университетским профессором К. Гиттнером, то найстаршим Галицкой Руси литератом, нашим Денисом Зубрицким. В г. 1822 напечатал во Ведни Иосиф Левицкий (р. в г. 1801), тогда богослов II года в Веденьском семенищи, свои три стихотворения «Учащемуся младенчеству народа славяно-русского», а в г. 1830 издал кто-то во Львове славную оду Державина «Бог» на русском, польском и немецком языках, которая-то ода сейчас разнеслась в численных экземплярах по русской духовной семинарии во Львове да и великолепием изложения предмета в великорусском первотворе приводила в удивление, в восторг русское юношество. В г. 1834 уже появились два специальные сборника русско-народных песен: один в Перемышли под з. «Russkoje Weselje» Иосифа Лозинского (р. в г. 1807), тогда приходника в Радохонцах Мостиского деканата, другой, больше просторонный сборник во Львове (1833) под з. «Piesni ludu Galicyjskiego» Вацлава с Олеска (Залеского), чиновника-поляка, собравшего именно русские песни того же издания при помощи русской школьной молодежи, из различных сторон Галичины во Львове пребывающей. Вслед за тем в г. 1834 явилась в Перемышли уже и первая «Grammatik der ruthenischen oder kleinrussischen Sprache in Galizien» Иосифа Левицкого - после песен и мечтаний уже и первый плод размышления над духом и правилами русского слова.

Современно с появлением тех изданий уже подготовлялись до лету в область славы молодые поэты наши - Маркиян Шашкевич, Николай Устыянович, Антоний Могильницкий - все три рожденные в г. 1811, а вслед за ними мыслящие плекатели русского слова: Иван Вагилевич и Яков Головацкий – последний веком из всех них най-молодший (р. в г. 1814). В даровитых головах тех юношей уже роились тогда мечты о будущей лучшей доле русского отечества, за которого жизнь духовую они вскоре имели стать головными репрезентантами.

Молодые два наши священники, Иоанн Дудкевич и Иларион Ильницкий, поставленные в г. 1835 заведателями русского приходства в Самборе, принадлежали тоже к числу тех благородных мечтателей-патриотов нашей Руси, да именно последний яко один из друзей гениального энтузиаста, нашего Маркияна, занимался прилежно свежеезданными плодами русско-народной словесности, а яко изрядный любитель пения возбуждал в обществе любовь для того же искусства в русско-народном направлении.

Затем познание и возродившаяся вскоре тесная дружба с одним из лучших представителей тогдашней молодой Руси, яким явился тут о. Иларион Ильницкий, была для нашего Михаила под многими взглядами самая желанная и благодатная. Из одной стороны, нашел Михаил в бодром, образованном молодце-священнике милого товарища своей дотоль уединенной жизни; из другой же - он за его близшим познанием уверился, к своему удовольствию, в первый раз наглядно, что пробуждающаяся к жизни молодая Русь имеет основы для своего будущего быту далеко сильнее и прочнее, чем на каких стояла Русь старшего поколения, а какими были собственно только резкая, но ненадежно сознаваемая негация и оппозиция против всего, что было Польшей. Молодая Русь, уже за оногo времени поставивши себе девизом: «познай себе, полюби свое», доходила тем путем до самопознания, до раздобытия и оценивания своих народных сокровищ, своей старинной истории, - а традиционную оппозицию против Польши она умела уже фактами истории и особенностями характера народного пояснять, мотивовать, о что тут власне и наиболее ходило. От того же и следовало, что оное почувствие русской национальности, которое зародилось было в сердце нашего Михаила при первом столкновении его с «поважными товарищами старосамборской земли», стало теперь под влиянием духа молодой русской генерации озаряться приятнейшим светом самопознания, стремящегося к образованию русско-народному по форме и характеру.

И такое направление юной Руси, заснованное не на самой не-

приятной негации, а на светлых началах поэзии народной и науки, пристало больше к сердцу нашего Михаила, с природы сотворенного оптимистом. С правдивой любовью принялся он теперь за изучивание русско-народных песен, и довольно богатый сборник тех же издания Вацлава с Олеска почти не выходил из его рук. Те «*Piesni ludu galicyjskiego*» стали теперь улюбленной его книгой, а «Вступную росправу» в том издании, списанную Вацлавом Залеским поистине привлекательно и со многим знанием предмета, читал и перечитывал он столь часто, доколе всех прекрасных ее уступов о русских песнях не затвердил дословно в памяти. Тут-то и объявлялся наследственный по матери Анне восторг его для прекрасных мыслей, выражаемый с ровной силой як в обществе людей, так и на самотных прогулках.

С той то поры замилованье Михаила для думок и песен русских, датующееся еще из лет дитинных с Дубна, а бывшее дотеперь просто потребой и безотчетным влечением чувства, получило высшую, сознанием одушевленную цель - так, что и он мечтал теперь стать собирателем духовных сокровищ людю вроде Зоряна Ходаковско-го, Вука Караджича или хотя бы Вацлава Залеского. К сожалению, для такой цели не было у него ни достаточно свободного времени, ни потребной к тому терпеливости, и все, что он на том поприще успел доказать, было едино: что, выходячи с оловцем и записной книжицей за город на болонья, до поблизких приселков, заставлял там сельских мальчиков-пастушков отпевать якие-либо коломыйки, а раздавши каждому спеваку по крейцару, редко записывал пропетую песенку, потому что не так легко нашлась тут между ними яка новая, неизвестная ему чи из давнейшего наслыху, чи из печатных сборников.

Та охота на прогулках и проездах выслушивать пения от селянских пастушков стала у него привычкой неразлучной даже до поздней старости, и всякий, кто с ним коли прохажался или ехал проселочными дорогами, пригадает себе, что наш Михаил, зазревши где-нибудь сельских мальчиков, не занедбал николи скликать их до себе и, понуждая каждого заспевать яку песню, давал за тую ж по крейцарику из своего полотняного мешатка, которое всегда для той цели было в его кармане наполнено дробной монетой.

И велика же бывала радость Михаила, если случайно на таких «собираТЕЛЬСКИХ» прогулках за городом удалось ему найти «сокро-вище» - новую думку-коломыйку! Тогда целый восторженный он забегал до своих молодых друзей на приходство, отпевал новую строфку вслух им и их женам-красавицам да тешился своей находкой, как дитя новой игрушкой.

А на приходстве бывали тогда часто устрояемы певче-музыкальные вечерники, на которых при соучастии нашего Михаила производились хоральные пения русско-народные, и не раз тут раздавались новозаученные украинские думы со славных времен козацтва (по изданию Михаила Максимовича из г. 1827), пленявшие особенно нашего «собирателя-энтузиаста» великолепием своего содержания и напева.

Так, увлечен новым стремлением духа молодой Руси, наш Михаил посвящал свободное время, какое оставалось ему после канцелярийных занятий, то списыванью русско-народных песен, то приятному сожитию в кружку доброй русской молодежи, среди которой наибольше полюбил он Илариона Ильницкого. С тем-то другом своего сердца он, найрадше сообщаясь, запускался часто в живые разговоры о русской словесности, о будущем ее развитии и успехах, пользовался его подробными в том предмете знаниями, а як и охотно соглашался со всеми его умными воззрениями и мнениями, так лишь в одном упорно противоречил ему - и то именно в вопросе букв. Тогда бо Михаил наш, еще не знаючи русской азбуки, которой нигде в школах не учили, а идучи за примером Вацлава из Олеска и нашего Иосифа Лозинского, который свое «Русское веселье», а потом и «Русскую грамматику» напечатал также латинскими буквами и правописью польской, не только списывал сам свой сборничек песен русских той же правописью, но к тому уважал ее и вообще для русской словесности соответной, даже необходимо потребной. Надаремно старался добрый друг Иларион опровергнуть то его предупреждение основными доказательствами о превосходстве славянской правописи, а враз же и тем, что не пощадил труда своего, дабы жаркого приверженца латино-польских букв в русской азбуке обучить да за самым тем обучением до лучшего ее оцениения привести, - Михаил наш, хотя и научился уже в конце немного читать по-славяно-русски, хотя и прочитал остроумную брошюрку Маркияна Шашкевича, изданную в Перемышли еще 1837 г. под з. «Азбука i abecadlo, odpowiedz na zdanie I. Lozinskiego o wprowadzeniu abecadla polskiego do pismienictwa ruskiego», но таки не отступал от своего, на то время утилитарностью довольно узадаченного мнения; и стоял при нем упрямо даже до г. 1849^{*}.

Участником таковых прений между друзьями бывал иногда и о. Василий Товарницкий, который яко настоятель Самборского дека-

^{*} Письмо Михаила к о. Илариону Ильницкому изд. д. 18 февраля 1849 г., которое сообщено будет на своем месте в той же биографии, поучит нас само, что было вконец поводом к отступлению от оногo предрасудочного его мнения.

ната часто заездил в город Самбор и тут почти за каждым побытом сходиллся с нашим Михаилом, любил с ним как с равным себе знатоком классической латыни разговаривать тем языком старинной Румы и отдавал ему даже свои рукописные творения, сочиненные по-латыне, к перечтению и «ласковому оценению». Михаил наш рад был такому предпочтению со стороны своего старшего друга, а хотя латинские сочинения того же относились почти исключительно к предметам ему чужим, бо чисто богословским, но, перечитывая их прилежно, он восхищался классическим пером автора и уверился еще тем больше, что Русь наша поистине имеет мужей, прекрасно ударованных и отличных во всякой отрасли науки.

В г. 1837 последовала в складе Самборского приходства снова перемена: довременный заведатель того же о. Иоанн Дудкевич получил парохию в Ричигове Горожанского деканата, а действительным парохом Самбора поставлен был дотеперешний приходник Старого-Кобла о. **Автоном Ревакович**, сродник нашего Михаила по матери Анне.

Сей-то о. Автоном Ревакович был старик около 70 лет, а в приходском душпастырстве трудился уже на пятый крестик (44 лет); но, помимо своего преклонного веку, отличался еще такой бодростью духа и тела, что владыка Иоанн Снегурский, познавши его лично, сам наставлял на предпочтение его пред другими наймолодшими убегателями о великое Самборское приходство, утверждая остроумно, что «следует раз и заслуженным старикам отдать тучную паству». Тому-то благорасположению своего архиерея одолжен был о. Автоном оною справде редкой честью, якой достигнул на старости лет и якой в самом деле был достоин.

Для нашего Михаила было прибытие о. Автонома с родиною в Самбор тем приятнейшим событием, что в той же родине видел он почти такие же приемы и обычаи домашнего сожития, якие когда-то водились в его родном Дубне, а кроме того, в доме у о. Автонома расцветали три дочери-красавицы, и сама же их мать была женщина над свой век молодша как живым умом, так и постоянным доброго сердца весельем. Затем началось для нашего уже немножко стареющегося авскультанта наново близшее общение с женщинами, для которых он всегда имел жаркую кровь и был безусловным энтузиастом. Нежное сношение со сродственным домом о. Реваковича велось обоесторонно с соответной искренностью и приличием, да затем Михаил наш радо проводил тут особенно зимовые вечера, припевая веселым девчатам русско-народные песенки с тем большою вервою и житьем, что находил в милых своих слушательках широсердное сочувствие.

Товарищеский кружок на Самборском приходстве, ставший теперь поистине идиллично-патриархальным, убольшился в г. 1838 молодой еще родиной о. Петра Лозинского (рожд. в г. 1806), который, только что посвящен в иереи, прислан был туда в звании второго приходского сотрудника для Самборской церкви. Возмущающийся убо возраст города Самбора чрез умножение чиновничества и улучшение дел школьных побудил нашу Перемышльскую консисторию от несколько лет стараться о поставление еще второго духовного сотрудника при русской церкви в Самборе, которая еще от владычих времен пользовалась преимуществами соборного храма (кафедры) и до которой причислены еще две дочерние церкви на предместьях. Старанья консистории только в помянутом году достигли своей цели, и с той поры при церкви в Самборе постоянно действуют два приходские сотрудника.

О. Петро Лозинский яко отличный спевак с высоким и благозвучным тенором был неоцененным приобретением для русского общества в Самборе, и наш Михаил особливо любил его за питомо-русский выраз и звонкие переливы голоса, с какими он производил заровно приятно слуху чи то церковный гимны, чи простолюдные думки. Впрочем, о. Лозинский как старший и перебывший различные колеи житья человек (по окончании богословия он с 6 лет бывал то на гувернерках, то на канцелярийной службе) был мило витанный в каждом товариществе, умеючи тут и убавить, и занять людей рассказами о приключениях - то потешных, то трогательных - из своей многообразной жизни.

Год 1839 был памятен для нашего Михаила появлением нового сборника русско-народных песен Жеготы-Паулия. Сей сборник, изданный в двух томах латино-польской правописью, но содержащий песен в большом числе и лучшем упорядкованьи, чем сборник Вацлава с Олеска, привел Михаила как из одной стороны в восторг правдивой радости, так из другой - диво! - в немалую журбу. Уверился убо он, наш скромный самборский «собираатель» таких же песней, что после сего столь пространного издания «сокровищ русского людю» теперь уже не останет для него собирать что-то нового в народной сокровищнице, так беспощадно другими исчерпываемой! С тех пор он, заровно как тот юный скрипач-честолюбец, что за услышанием виртуозной игры старого артиста разбивает свою лютню, так и он покинул от теперь навсегда звание «специалиста-собираателя», а остался просто тем, чем и был от роду: жарким любителем народного пения во всех его проявлениях.

Из других сочинений, якие Михаил о том времени читал, а якие большой частью доставлял ему друг-литерат о. Иларион Ильницкий,

обратили особенное внимание его «Historya miasta Lwowa» кармелитского монаха Игнатия Ходынецкого, изданная еще в г. 1829, а больше над то две примечательные брошюры нашего русского историкографа Дениса Зубрицкого «Historyczne badania o drukarniach rusko-slowianskich», изданные во Львове 1836 г., и «Rys do Historyi narodu ruskiego w Galicyi, Lwow 1837». Дело Ходынецкого, хотя все списанное недостаточно и в направлении польского духа, но оно довольно ответило любопытству Михаила, стремящему теперь с большой силой к распознаванию отечественной истории, в которой тогдашня русская молодежь - по недостатку сочинений того рода русских - зачерпывала самые скудные известия только из польских историй Альбертрандия, Бандкого и Нарушевича. Из двоих брошюрок Дениса Зубрицкого сильно заняла Михаила невеликая она, изданная только яко «вступное слово» до истории Руси в Галичине под з. «Rys do Historyi narodu ruskiego», а поучающая в несколько очерках наглядно о том, что Галичина наша даже по-за реку Вислоку была вся русская земля и владели в ней свои русские князи, доколе край той насилем оружия не попался под власть ненавиденной Русью шляхотской Польши. Другое, тоже маленькое вправде, но с основным знанием предмета и с русским патриотизмом написанное дельце «О русско-славянских печатнях» Дениса Зубрицкого поучило весьма во многом нашего дилетанта-историка, паче всего же в том, что ставшая в то время уже бессловесной наша Галицкая Русь имела когда-то в самом Львове 5 русских типографий, столько же и в других местностях края (даже по селам владычим и монастырским), а межи теми типографию славного Ставропигийского братства Львовского - найстаршую веком на весь земский шар! Тот доказ когдашняго словесного богатства Галицкой Руси одушевлял нашего Михаила светлыми надеждами на ее возрождение в лучшую ее будущность, в которую уже тогда верил он тем больше, что добрый товарищ его о. Иларион с каждым годом предлагал и отчитывал ему свежие плоды юнорусской словесности, издаваемые трудом молодых людей и славяно-русским письмом, яко были, напр., «Русалка Днестрова», напечатанная в Будяне 1837 г., «Звон Шиллера», переведенный Иосифом Левицким и изданный в Перемышли 1839 г., да и другие поменьшие брошюрки и стихотворения (между прочими, напр., «Печальное слово Григория Яхимовича о упокоении души Франциска I, императора Австрии», перевод с нем. Стефана Семаша, изд. во Львове 1835 г., «Слеза на гробе Михаила бар. Гарасевича», во Львове 1836 г., сочинение даровитого поэта Николая Устыяновича и др.).

Занимаясь литературой только в свободных от канцелярии годинах, наш Михаил уважал все-таки канцелярию головным поприщем своей дневной деятельности и своего звания да был тут всегда одним из наиприлежнейших чиновников. Однако, как мы то уже сказали, помимо всего прилежания, всей точности в советном исполнении своих обязанностей в судовом бюро, он надто долго не удостаивался соответного признания за свою добру и верную царю службу. И теперь-то именно с болезнью сердца приметил он, что сближался уже к сороковому году своей жизни, что многие школьные товарищи его уже и достигли высших чинов, и живут в лучшем быте с семействами, а он все еще на наинизшем чине, авскульптантом старается и яко такий о женячце не посмеет и задумать! Не дивно, что при так долговременном застою и безнадёжности аванса настигла на него снова печальная хвиля недоверия в свои силы, как когда-то за вступлением на студии философские, - и, подозревая теперь, что труды его на судовой службе чей же или неудачны, или не под меру малые, он еще удвоил свою прилежность в бюро, исполняя тут найтруднейшие работы каждого дня за себя и за других, пребывая у своего пульпита дольше всех над обыкновенные часы канцелярийные.

От той поры он, который и так не во многих бывал товариствах, разве на приходстве и в касине, обмежил еще больше свое общение с людьми по-за канцелярией и оттак, творячи неяко насилие своей природе, стал нелюдим и бюрократ по преимуществу. Редко заходил он теперь в общества, даже свои прогулки ограничал лишь на один прямой ход до реки Днестра, в котором, по своему обыкновению, купался летом ежедневно с восходящим или западающим солнцем. И не довольно казалось ему того умноженного труда в бюро; он брал еще с собой недоконченные работы дня до дому и тут усовершал их не раз до поздних годин ночи или же переписывал дежурные выробы с наибольшей старанностью начисто.

Но даже и таким убольшением канцелярской ревности он никак не помог, а, напротив, еще и повредил себе паче всего у найнизших и найвысших слуг царского суда, которые обоесторонно смотрели теперь на Михаила неблагосклонным оком, а то именно первые (т. е. возные, где-якие дурнисты и канцелисты) недолюбливали его за то, что не раз за-для него принуждены были засиживаться в бюро дольше законного времени; вторые же (некоторые советники) на-ходили его элабораты, точно и всесторонне умотивованы, над меру просторонными, отже богато времени к их перечитанью вымогающими. Из взгляда на се последнее обстоятельство случалось, бывало, что не один советник аж задрожал при виду объемистых актов

якой судовой пересправы, вносимых возным для перечитання в его бюро; и он же, советник, як и всякий в суде, ведал о тех толстых фолиалах, что се «элабораты авскультанта Качковского», который не только наибольше из всех в суде писал, но еще писал наибольшим из всех почерком - буквами на четверть цали великими и соразмерно тому толстыми. Сей оригинальный почерк нашего Михаила как и был для читання всякому оку догодный, но, наполняя целые фолиалы бумаги, ужасал не одного, кто имел обовязок тоже читать.

Один только был тут в суде чиновник, степенем высший от Михаила, оценивший иначе объемистые труды нашего прилежного авскультанта: был то судовой актуарий (ныне столько, что адъюнкт) именем Луцкий, который также над меру долго служил в низших чинах, а также чувствовал свою обиду супротив фаворизованных немцев и чехов. Той же п. Луцкий яко старейший и опытный судья не только почитал высоко нашего Михаила за его постоянный ревностный труд в бюро, но больше всего еще ценил и выдатные плоды того же труда, которые всегда были произведены не побегом, урывочно, а со всесторонним пояснением и вычерпаньем предмета да в заключении с засудом, имеющим полное основание и в законе, и в совести праведного судьи. Ту овою признательность для трудов и подвигов запознаваемого в суде авскультанта не залишал благородный он актуарий подносить при каждой надавшейся способности в судейском сенате, где имел он уже децизивный голос советника, и оборонял своего любимца перед всякой напастью, якая от стороны некоторых бюрократов поднималась иногда даже против приватного образа жизни Михаила, ухотившего, як известно, у многих за «чудака».

Само собою разумеется, что такое благорасположение к себе актуария Луцкого отвдячил наш Михаил самой искренней дружбой, которая тем нежнейшей объявилась в то время, когда оба сии добросовестные чиновники Самборского суду почувствовали себя претерованными, обиженными через долголетнюю застою их аванса.

Другой человек, значно молодший веком, для которого Михаил с первого познания в бюро повзял особенную симпатию, был поляк родом, некий п. Лев Липский, вступивший с началом 1840 г. в звание практикующего канцелиста в Самборский окружный суд и перебивший тут до конца 1844 г.* Сей юноша, тогда 18-летний, определен был канцелярским помощником к нашему Михаилу, имевшему яко старший авскультант свое отдельное бюро, и, отли-

* Тот даровитый человек есть ныне отлично действующим, многоуважаемым секретарем громадской зверхности города Жолкви, и ему-то одолжены мы за многие с того времени о Михаиле известия.

чаясь прилежностью, хорошим почерком письма, а больше всего живопонятливым умом и честным характером, приобрел здесь вскоре благосклонность и приязнь у своего бюрового настоятеля. Для сего же последнего был он молодой друг тем пожаданнейшим приобретением, что после долгого времени нашелся тут для него случай стать снова ментором - наставником и учителем, которое-то звание, як мы уже не раз на се указывали, было як найбільше по сердцу Михаила.

Одарен свойствами настоящего ментора, принялся затем наш ав-скульптант за приятный для него труд дальнейшего образования своего молоденького друга, который в самом деле тогда по недостаточному учению в средних, ним свежо оконченных школах нуждался еще во многом для довершения своих знаний так в теории, як и в практике жития. И он же, г. Лев Липский, по собственному своему признанию, скорыстал за то время премного доброго от нашего Михаила, который, приметивши в самом начале, что юный поляк пишет протоколы по-польски с ошибками, и, укоривши его за то добросердно словами: «Jestes Polakiem, a nie wstydzisz sie Pan czynic grzech i krzywde macierzynskiej mowie», по власному побуждению и с наилучшей охотой выучил его основно польской правописи и стилистике, а кроме того, и в житейском отношении влиял на юношу-друга добрым примером и образцовою моральностью жизни. Наш убо Михаил, як се с особенной признательностью упоминает доньне о той поре его г. Липский, хотя окричанный был чудачком найбільше за для своего простого, ощадного способа житья, как и по поводу позорной рассеянности в обществах и монологов на самотных прогулках, но яко муж с правым спартанским характером возбуждал у всех мимовольную честь и действовал особливо на наймолодших примером своей высокоморальной личности. Другу своему Липскому давал он, звычайно с ним проходясь скоренько, умные наставления в словах коротких, лаконичных, но в каждом его слове выражался глубоко обдуманый принцип, а даже в чертах его лица при живой беседе высказывалась серьезная мысль и крепкая воля учить добру не самым говореньем, а действительным делом. Доверяя тому свидетельству, выданному о нашем Михаиле честным, а вовсе тут бессторонним поляком, мы можем ныне ясно вообразить себе, каким тот Михаил на своих молодших летах был отличным педагогом, юношества наставником и руководителем; можем ныне легко и то понять, для чего и он помещик от Любычи, сдерживавший его в своем доме гувернером около 7 долгих лет, в конце расставался с ним не иначе як по необходимой потребе и с найбільшим за ним сожалением.

Только на заключении 1840 г. повышен был наш авскультант, имеючи уже 39 лет от роду, на посаду судового актуария, с годовым жалованьем сперва в 500, потом (с г. 1841) в 600 зр. мон. конв. Тот аванс ободрил нашего Михаила и наполнил его лучшими выглядами на будущность; а что не меньше корыстным было для него, имел сей аванс свое влияние как на улучшение его житейского быта, так и на убольшение сберегаемого им ежегодно капитала. Як убо начал он был сперва от того, что, получая 200, а далее 300 зр. платежа, выдавал из той скромной суммы на свои житейские потребности только половину, с. е. 100 и 150 зр. в год, прибавляя другую половину до сложенного капитала; так от теперь определял он на житье лишь немного большую сумму, именно 200 зр. ежегодно, а прочими 300, потом 400 зр. убольшал свое коренное имение, которое при других еще законом определенных доходах за комиссии, на какие он с г. 1840 в звании актуария частейше выездил, доросло в г. 1844 до суммы около 6000 зр. мон. конв.

Следуючи показаниям достоверных людей, и которые о том времени знали его лично и жили с ним в близших сношениях, представим тут в беглых чертах образок домашней и канцелярской жизни его яко судового актуария (по-нынешнему - адъюнкта).

Обитал он в каменице с предпокоем под ч. 12 в самом рынку, имеючи тут одну просторную комнату с видом на фронт на 1 пядре. Комната сия была скромно вправде, но под каждым взглядом порядочно устроена, вовсе не показывая на скупость, а только на бережливую расчетливость да на замилованье в чистоте и ладу хозяина. С весны до поздней осени окна в ней затворялись только на ночь, несмотря и на докучливую иногда стужу. Зимую печь огревалась весьма мерно, а хозяин, если случаем был дома, ходил вечно по ней без халата или сурдута, надевая только для вступающего гостя легкий тужурок. До прислуги был тут звычайно хлопчик, який бедный студент, которого наш Михаил добирал себе всегда за знанием и препоручением школьного директора и за которого весьма часто исполнял меньшие послуги около себя сам.

Встаючи всегда дюже раненько, зимою он читал или писал при свечке, потом, если то был день торговый, выходил со своим служкою на торговицу меж селянок - куповати «с первой руки» съестные припасы, як то хлеб, сыр, масло, бульбу, яйц, всяких круп и овощей на запас целой недели для себе и для служащего хлопчика. Летом - а было для него лето от 1 мая до конца октября - он прежде всего шел в Днестр купаться, а потом еще пробегал кругом город в различных направлениях аж до часа открытия бюро канцелярийных. На снаданье в зиме пил звычайно вареное молоко с хлебом, в лете

съедал кусень хлеба да якти овощи, найчастейше на прогулке под открытым небом. Зато обед споживал в частных трактирных домах с наилучшим вкусом, не перебирая в стравах, которые все добры были для его здорового желудка. О вечеру он уже немного дбал и, перекусивши снова хлеба - то с малом, то с сыром - да споживши несколько яблок или других овощей, в зиме же обыкновенно печеных бульб, клался спать правильно о 9 часе вечер. Люльки ни табака не употреблял во всю жизнь никогда, напитков лишь изредка, в веселом обществе и то весьма умеренно.

В товарищества заходил редко; частейше бывал в касине, где после беглого перечтения газет заседал на годинку-две с яким добрым партнером до игры в шахи, единственной из всех товарищеских игр, которую довольно любил и в которой был игрок быстрый и нелегко победимый. В карты или бильярд не играл николи, а только иногда придивлялся играющим. В мясницы он не занедбывал являться прилично и на каждый бал, в котором чиновники принимали участие; но и тут только приглядался танцам и оставался не дольше, як до полночи.

В канцелярийном бюро он имел где-якие привычки, свойственные людям-систематикам и бюрократам, а доказывающие разом его бережливость даже в малейших вещах. На столе его и на пульпите все снаряды к писанью были всегда в наилучшем порядке, раскладаны и складаны ним каждого разу собственноручно, без употребления прислуги возных или слуг канцелярийных.

Что до делового его занятия в бюро, тое производилось ним не только в образцовом ладу, но и, к немалому удовольствию тяжущихся партий, поспешно и с належитым увзгляднением всех их мотивов и обстоятельств. Слабой стороной его как судьи были только личные истязания преступников, на которых он, оптимист от природы, нелегко познавался. Хотя убо при таковых истязаниях он всегда прибирал поверховно вид сурового инквизитора, хотя сначала порывисто выражал тут свое омерзение для преступления вообще, но при близшом рассмотрении сокрушенного или сокрушение симулирующего преступника, проворно извиняющегося, он вскоре становился сострадательным, даже мягким, затем иногда судьей не бессторонным в строжайшем смысле. Особенно оказывал он тую слабость супротив преступников-селян, грехи которых в самом деле проистекали часто не так от источника злонамеренных замыслов, як больше от грубого невежества или по увлечению минутного пристрастия. В таком случае наш судовой актуарий не раз заколебался, бывал в своем рассуждении нерешен, а то тем больше в разе ловко проведенной симуляции, на которой он, яко был добродушен и надмерно

доверчив, весьма редко порозумевался. Оттого-то часто происходила в нем она внутренняя чувств борьба, которая не раз измучила его морально и которая выражалась явно даже оными прославленными монологами на прогулках, звертавшими на него внимание и подив людей прохожих.

В подтверждение оптимистичного его характера, мало сходного со званием строгого судьи, наводим тут сей примечательный факт, сообщенный нам г. Липским: что когда случилось ему яко актуарию в первый раз реферовать в сенате дело о убийстве, то он, выголошав засуд смерти на преступника, яким был тогда случайно один русский селянин, содрогался весь, по несколькократно прерывал чтение засуда и в конце заплакал як дитя, производя трогательное в членах сената действие.

В г. 1841 переменялись на русском приходстве в Самборе духовные сотрудники: именно первый сотрудник Иларион Ильницкий, сам лучший друг нашего Михаила, перешел на парохию в Селец Мокрянского деканата, откуда дотеперешний приходник и самборский декан о. Василий Товарницкий переселился на свое новое приходство в Старую-Соль, а второй самборский сотрудник о. Петро Лозинский перенесся в Львовскую епархию, где и стал сотрудником при Успенской церкви в городе Львове. На место о. Ил. Ильницкого настал в тое ж время о. Иосиф Бержинский (р. г. 1810), высвященный в безженстве 1840 г., а на место о. П. Лозинского поставлен был в течение 1842 г. вторым сотрудником в Самбор о. Иоанн Коростенский (р. г. 1814.), посвящен в иереи 1839 г.

С о. Бержинским как человеком светового поведения, глядающим товариства, забавы и сутого угощения в домах заможных, преимущественно польских, Михаил наш не вступал никогда в близкое сообщение и сходилсся с ним только редко в доме дяди своего о. Автонома Реваковича. Зато с г. 1842 нашел он в лице нового второго сотрудника Самборской парохии отличного друга, который вполне заступил ему выселившегося оттуда о. Илариона.

Затем станем дальше рассказывать о сношениях Михаила с тем новым другом о. Иоанном Коростенским, уважаем уместным навести тут в сокращении автеитичные известия о Михаиле, сообщенные нам именно оным высокопочтенным другом его о. Иларионом Ильницким, ныне парохом в Сельце Мокрянского деканата. Вот что пишет нам в том деле, между прочим, впр. о. Иларион из Сельца (в письме своем из дня 21 юния 1876 г.): «С Михаилом Качковским познакомился я в г. 1835, когда он был судебным авскультантом, а я приходским сотрудником в Самборе. От начала и всегда имел он великую для меня симпатию: запрашал меня с собой на свои про-

гулки, в свой дом, да бывал и в моем доме, что уважалось особенным из его стороны снисхождением, ибо в других домах он, мимо запросин, не бывал, разве только на Новый год, на Великдень или когда приличность dokonче того вымогала. И для того держано его за чудака. Но зимой ходил он каждого вечера в казино, которое уже тогда в Самборе было устроено, читал тут газеты, играл в шахи или придивлялся играющим в бильярд и в карты. В торговые дни заходил он меж толпы селян да любил тут с русскими селянками, особливо с хорошими, беседовать, отчего поговоривано о нем, что любит женщин. Но когда, бывало, я упрекал его, зачем не женится, отвечал звычайно, будто практичные люди говорили ему: живешь сам - имеешь одну журбу; женишься - достанешь их десять. Яко авскультант он обитал в одной комнате, потом яко актуарий в двух, всегда прилично устроенных, и давал запомогу якому бедному студенту. В церкви бывал в Недели и в Свята да искренно любил свой русский обряд. Раз зашли мы до приселка Бискович, где хотел он осмотреть дочернюю церковь Самборского приходства. Тут нарекал он, что ни в Самборе, ни в Бисковичах не было в церквах иконостаса, и советовал сделать складку, дабы устроить храмы наши точно по русскому обряду. Вообще, разговоры о поднесении блага Руси были уже и тогда любимым его тематом, яко чиновник был дюже ревный и совестный, а в своем раз повзятом судейском мнении никак не уступчивый. Знаю, напр., что, будучи еще авскультантом в бюро советника Ц., посперечался с тем же о засуде так жарко, что сов. Ц. во гневе воскликнул: "Ja pana wyrzuce!" - на что отрубался Михаил: "A jak ja bede mocniejszy, to ja pana wyrzuce". Тогда сов. Ц., немного охолонувши, закончил суперечку словами: "Nie moze panu odmowic zdolnosci, ales bardzo uparty", а Михаил притакнул: "Bom Rusin". Такие и тем подобные происшествия в бюро спинали его аванс, яко о том не раз говорили его товарищи-чиновники, почитавшие высоко его рефераты, писанные тогда, по их же признанию, найкрасшою латиною. Для протекторства, тем больше же для подкупства Михаил наш был строго неприступный, як о том добитно сведчит его поступок в процессе гр. Дульского из горожан, где яко актуарий при исследовании никак не дал себя подкупить. А как и любил он хоть бы наименьшую прислугу от других вынагорожати яком даруночком (вот, напр., четверкою добрых яблок, которых и сам богато споживал, купуючи их не раз за высокую цену), то сновь из другой стороны за свои прислуги, за добрый совет в делах правных не принял награды за ничто в свете, так что на его имении не тяжит ни за шпильку неправого приобретения - и затем оно принесет нашей Руси благословенство!».

Новый друг Михаила о. Иоанн Коростенский, бывший дотоле коадьютором при стареньком о. Василии Яновском в Гордыне, принадлежал тоже к числу многонадежных представителей юной Руси, отличаясь при том заровно, як и его молоденькая жена, хорошим образованием и симпатичным обхождением в товарищеском сожитии. Дружеское сообщение с ним было для нашего Михаила столько же благотворно, как перед тем с о. Иларионом, ибо оно имело всегда на цели не только удерживать приятное соглашение подружившихся сердец, но враз и взаимно образовать себя умными разговорами о предметах, дотычащих народности, которая уже мало-помалу ставала вопросом занимательным и насущным, особенно для приверженцев идеи юнорусской. Сам Михаил сознавался не раз с умилением в своей старости, что як и мало понимал он тогда еще стремления и цели якой-то будущей Руси, як и сильно потягала его иногда к себе преобладающая в то время Польша, могущая своим больше развитым образованием и общежитием: но «в присутствии и под личным влиянием сего русина-друга находил на него всегда русский дух, который будто отгомоял в сердце его свойским звуком русско-народной песни, милым позвоном скромной домашней церкви, а который решительно повелевал ему любить свое, держаться всего своего, что русское»^{*}.

Затем, хотя Михаил наш, по тогдашнему обычаю, как чиновник в великие лат. свята бывало заходил в латинский костел, но теперь, особенно за прибытием о. Коростенского в Самбор, привык больше навещать русскую церковь^{**}, которую и полюбил вскоре яко свою, родинную, матернюю святыню, где «русины-братья славят Господа по-русски». Тут благодатно действовал на него весь чин св. богослужения, совершаемый под проводом старенького дяди его о. Автонома Реваковича, а не меньше ободрительно влияло постоянное при таких богослужениях присутствие знакомого и в городе вообще поважанного мещанина старика Яворского, который яко имущий властелин двоих камениц в Самборе и яко старший брат соборной

* Почти теми словами выражался Михаил сам, бывши в мае 1872 г. у меня в Смерекове, когда случайно зашла беседа о о. Иоанне Коростенском.

** Сам же о. Иоанн Коростенский, ныне парох Грушова и настоятель Мокрянского деканата, в своем письме из д. 15 июня 1876 г. извещает нам о тогдашнем религиозном расположении Михаила следующее: «Михаил был любителем своего обряда, учащал в церковь и занимал тут последнее месце под хорами с президентом карного самборского суда г. Леськевичем, також русином, который, так як и тогдашний презес города Самбора г. Соколыницкий, отправлял пасхальную исповедь и причащался в церкви каждого года в Великий четверг».

городской церкви складал от искренней любви для той же церкви в пользу ее щедрые жертвы и всеусильно причинялся к поднесению ее славы и блеску.

А немалым же блеском воссияла именно о той поре русская церковь в нашем краю, имевшая тогда трех великого имени владык, яко митрополита Михаила Левицкого (рожд. в г. 1774), высоко почитаемого в иерархии целой державы австрийской, епископа Иоанна Снегурского (рожд. 1784 г.), изо всех в краю наиболее популярного, всеми любимого и действовавшего по преимуществу в духу русском, наконец, наймолодшого из них, епископа-суфрагана Григория Яхимовича (рожд. 1792 г.), который только что в г. 1841 с великим торжеством поставлен был в святители русской церкви во Львове, и которого наш Михаил издавна уважал и любил яко своего законоучителя из студий философии. По-при тех светло отличенных Руси святителях пользовались уже тогда розголосоm учености и широкой в краю славы русины - члены иерархии, як то особенно крылошане и доктора богословия во Львове: Венедикт Левицкий, Онуфрий Крыницкий, Яков Геровский, Иоанн Ильницкий; в Перемышле: Иоанн Лавровский, Фома Полянский (позднейше епископ), Григорий Гинилевич и профессор Игнатий Кубаевич. Имена тех мужей науки имели громкий звук в целой Галичине, даже за ее границу, и они были уже тогда порукою неоспоримого существования и будущей лучшей доли нашей Руси.

Почти всех тех знакомитых людей, светлых репрезентантов старшей Руси, видел наш Михаил лично в г. 1841, бывши власне д. 9/21 новембрия - в день торжественной интронизации Григория Яхимовича случайно во Львове; некоторые же из них, как именно кр. Геровский и Гинилевич, были с прежних лет добрые знакомые его, а один из венчаных митрой иерархов, протоигумен и архимандрит (с г. 1836.) чина св. Василия В., о. Орест Хомчинский, был даже его близкий сродник, происходя по матери прямо от родины Качковских.

Занявшийся с тех пор больше делами, относящимися к русской церкви, Михаил наш обратил теперь прилежнейшее внимание на словесные источники, которые могли были лучше познакомить его с церковной жизнью Руси от известного начала ее существования. А як и скудные были еще во время оно те урывочные источники, появлявшиеся за побуждением епископа Снегурского только в духовных шематизмах Перемышльской епархии с г. 1837 - 1845, но Михаил отчитывал и те с великим любопытством, узнавая из них много такого, о чем перед тем лишь недостаточное имел понятие. Были то именно статейки, объёмом от 7-14 листочков, но писанные

со знанием молодшими священниками сперва в польском, потом в латинском языке, печатанные в помянутых шематизмах на последних страницах, а о содержании которых говорят следующие их заглавия: 1) «O Księgach cerkiewnych ruskich» (статья, извлеченная из веденьского журнала «Oester. Zeitschrift für Geschichte und Staatskunde» из г. 1836) в шематизме из г. 1837; 2) «O Metropolitach ruskich» (статья о. Михаила Малиновского, тогда префекта семенища Львовского), в шем. из г. 1840; 3) «O wprowadzeniu i ustaleniu wiary chrześcijańskiej na Rusi» (статья о. Антония Добрянского, пароха Валявы под Перемышлем), в шем. из г. 1842; 4) «Quaedam de conversionibus Ruthenorum ad religionem Christianam» (статья о. Бенедикта Левицкого, профессора университета Львовского), в шем. из г. 1843 и 1844; наконец, 5) «Series Metropolitaram Kijoviensium» (без подписи автора), в шем. из г. 1845.

Со словесными русскими изданиями того времени познакомился Михаил при помощи друга о. И. Коростенского, который и тут заступал для него после о. Илариона место чтеца и интерпрета достойным образом. Но, к сожалению, тогда на оном поприще як старшая, так и молодшая Русь наша производила весьма мало, и единым средоточием эфемерно печатаемой русской словесности уважался все еще о. Иосиф Левицкий, который, переселившись в г. 1844 из Шкла на новый приход свой в Грушев Мокрянского деканата, сделал знакомство о том времени и с нашим Михаилом, находя в нем великого своего почитателя. Да, поистине сей последний почитал «первого» языкослова Галицкой Руси также и «первым» той Руси поэтом, хотя он же поэт сам никогда не делал на то особенных притязаний, уважан себя собственно лишь «знатоком» русского стихотворства, яким в самом деле выказался еще в первом издании своей грамматики в г. 1834. Впрочем, Иосиф Левицкий до г. 1844. написал лишь несколько подлинных стихов, как то были, напр., «Стих в честь Василию Поповичу, новопоставленному мукачевскому епископу», «В честь митроп. Михаилу Левицкому в день тезоименитства», печатанные в Перемышлях 1838 г., и «Стих в честь Григорию Яхимовичу в день его рукополагания в епископы», изданный во Львове 1841 г.; все другие плоды его на том поле были переводы из немецкого, як то Гетова баяда «Богиня» (Erlkönig), изд. в Перемышлях в г. 1838, да Шиллера романсы и баяды «Звон» (1839. г.), «Борьба со Смоком и Порука» (1842 г.) и «Водолаз, Ход до железной гуты и Рукавица» (1844 г.) - все изданы тоже в Перемышлях в русской епископской типографии (учрежденной еп. Снегурским еще в г. 1829). Изданный же в г. 1841 во Львове сборничок мелких стихотворений другого русского поэта, о. Рудольфа Моха, под з. «Мотыль» - яко плод в каждом взгляде слабый и малоценный - не удостоился внимания ни у

современников, ни тем меньше у потомства.

Больше, чем те книжные «стихи», любил сын матери Анны на прогулках с другом своим о. Коростенским слушать читанные тем же «Галицкой приповедки и загадки», собранные Григорием Илькевичем и напечатанные в Ведни 1841 г. Многие из тех приповедек пригадынались ему еще из лет дитинных с Дубна, а остроумнейшие из них учился он наизусть да при случае выголошал их с непритворным восторгом.

О «Gramatyce jezusa ruskiego» молодого тогда Ивана Вагилевича, изданной во Львове 1845 г., имел наш Михаил только понаслышке такое понятие, что она наилучша из всех до той поры печатанных и писанных грамматик русских. Такою же и была она в самом деле на том основании, что сочинитель ее умно воспользовался великорусской грамматикой Востокова, который и доныне в мире славянском уважается первостепенным языковедом. Ближе не познакомлялся Михаил наш с грамматикой Вагилевича, раз с причины, что не находил для специального изучения филологии довольно свободного времени, во-вторых же, потому, что еще тогда постоянно упорствовал он против русско-славянской азбуки, с которой, помимо всяких примирительных усилий о. Коростенского, таки аж до г. 1849 никак не мог погодиться.

Зато занялся он тем прилежнейше новым делом ученого Дениса Зубрицкого, изданным в г. 1844 во Львове под з. «Kronika miasta Lwowa» и с дней первого явления сильно расширявшимся в публике, особенно между русинами. Дело сие имело великий успех у нашей Руси наиболее по тому поводу, что под скромным заглавием «Кроники одного города Львова» оно предлагало собственно историю всего края Галичины, списанную в первый раз на основании самых верных документов, затем на основании исторической правды, затем с русским характером и в духе русском. А понеже к тому в сей примечательной «Кронике» не только указаны львовские местные архивы и архивальные числа наведенных документов, но также документы пояснены еще самою совестною и бессторонною критикой: то действие ее на прилежного, а мыслящего читателя было, как и есть всегда, глубоко убедительно - и по правде доныне нелегко бы найти другой книги даже в русском языке, которая бы делала была в пользу Руси столь могучей пропаганды, как именно тая «Кроника» Д. Зубрицкого.

Не дивно, что и на нашего Михаила произвела она «Кроника города Львова» неимоверное впечатление, да он, як в том сам не раз сознавался, не то читал, а студировал сию книгу с большим еще занятием и любопытством, чем когда-то русско-народные песни в

сборнике Вацлава с Олеска, делая из нее выписки, извлечения, хронологические табели, як бы готовясь к чиновному испытю. От тогда-то (с 1845 г.) начинается для него собственно период самопознания под взглядом понятия народности, так что, упоминая раз о том времени в разговоре со мною в Смерекове, он положительно сказал: «Перед тем я только чувствовал себе русином по роду и по униатскому обряду; а по перечтении “Кроники” Зубрицкого я познал себя русином по требованию истории и веры православной».

Затем памятный г. 1846 - год несчастного двойного мятежа: панов польских и селян мазурских - застал нашего Михаила уже русином с самосознанием, с ясным понятием о своей народности, смотрящим на Польшу как на сторону, Руси противную. Понятно отже, что события, потрясшие в месяцах феврале и марте того же года мазурским западом Галичины и появившиеся спорадично да не меньше с неудачным для Польши результатом также в русском нашем крае, как то именно в селе Горожанне (Самборского округа) и под местечком Нараевом, события те поучили и уверили еще тем больше Михаила, что владычество гордой шляхотской Польши в нашем краю есть иллюзией, вырочною по дворам и где-куду в ополяченных городах, а наспротив того тихие и смиренные еще тогда надежды русинов на лучший народный быт имеют свою будущность жизни, обеспеченную не лишь существованием многомиллионного сельского народа русского, но также категоричным повелением времени и последовательным ходом событий истории. Впрочем, имел тогда наш Михаил самые верные известия о том мятеже на Мазурах, потому что шурин его о. Георгий Галецкий, настоятель Канчужского деканата, был в то время все еще парохом в Залесьи под самым Решовом и тоже в нескольких письмах очертал ему живо события, происходившие около Решова и Тарнова*, следуя в своем очертании вовсе не вымышленным рассказам, а настоящей правде - как человек, в том деле бессторонний и по части наочный свидетель.

Летом того же 1846 г. наш Михаил поражен был ужасной вестью о смерти своего шурина о. **Петра Паславского**, пароха при церкви св. Варвары в Ведни, насильственно убитого в той же церкви на д. 24 юния оного же года. О примечательном муже сем подобает упомянуть здесь немного подробнее найпаче для того, что и Михаил наш любил часто вспоминать о нем с самым нежным чувством не только как и добром супруге своей улюбленной сестры Юлии, но в особенности как о человеке с светлым умом, праведным характе-

* Так, город Решов, как и Тарнов, суть от давних времен филиями русско-го приходства Залесья.

ром и с теплым сердцем для Матери Руси.

Рожден в г. 1792 из отца дьяко-учителя в селе Лазах коло Ярославля, Петр Паславский уже с самой юности показал способность, свойственную дельным людям, а состоящую в стремлении к высоким целям о собственных силах. Без ничей помощи, только трудом своего ума покончил он все школы, ведущие к духовному званию, и в г. 1818, женившись с Юлией Качковской, при самом чине своего рукоположения в иереи в Перемышле обратил на себя внимание знакомого Иоанна Снегурского, ставшего власне тогда епископом Перемышльской епархии. Поставлен в то же время парохом в Боратынь около Ярославля, овдовел уже в г. 1820, и вскоре потом, в марте 1821 г., по желанию и за старанием самого же преосв. Иоанна выслан митрополитом Левицким со званием духовного сотрудника к приходской церкви в Ведень, где по возведении в епископы Иоанна Снегурского, до г. 1818. пароха при той же церкви, был приходником угрорусин, старенький о. **Иоанн Фогараш**. Само то определение к парохии в Ведни было в очах современного клира обоих епархий предестинацией великой доносности для о. Паславского, который поистине на своем новом становище в столице державы вполне удовлетворил ожиданиям своих владык и своих родимцев. Не только бо заступал он тут - сперва как сотрудник, с г. 1835 как парох, а с г. 1844 как почетный крылошанин - дела святой церкви русской с примерно повагою и соответным блеском, исполняя все богослужение точно по восточному обряду и проповедуя каждой Недели слово Божье в языке русском^{*}; но к тому сделал он свой порядочно устроенный дом средоточием и приютом для всех во Ведень заездивших галичан, так русинов, як даже и поляков. Также знакомитые славяне, как Копитарь, Вук Караджич, Колярь, Людевит Гай, были его добрые знакомые и личный друзья, а первый наш языкослов Иосиф Левицкий пользовался его «Сокращенной русской грамматикой», составленной еще перед г. 1820^{**}.

Многоуважаемый муж тот, достигши 54 лет самой крепкой жиз-

^{*} В церковь св. Варвары в Недели и Свята собирались, кроме нечисленных русинов, тем численнейше соплеменные славяне, как сербы, хорваты, чехи, а то именно и наиболее с целью, дабы послушать прекрасной проповеди русской о. Паславского.

^{**} Рукописи оной грамматики, яко и богатого сборника «Русских проповедей» о. Петра Паславского, четкою скорописью ним начертанные, сохранялись долгое время у брата его о. Гавриила Паславского, ныне пароха Равы-Русской, который от гимназийских школ даже до окончания богословия (г. 1833) жил и воспитывался в доме того же самого старшего брата о. Петра во Ведни. Помянутые рукописи, который и я сам видел еще в г. 1848, погибли, к сожалению, при случае великого пожара Равы-Русской в г. 1863.

ни, пал жертвою своего добродетеля и священнического долга от злобивой руки таким вот печальным образом: в г. 1845 сголосоился до него некий молодой человек (именем Ковальчук?) происхождением из Самбора, который для продолжения студии на медицинском факультете в Ведни просил у о. Паславского себе содержания и помощи. Готов всегда помогать своим землякам и, уверившись, что реченный студент достаточно обучен в церковном пении, о. Петр Паславский выеднал для него провизорично чин дьяка при своей приходской церкви с годовым жалованьем 300 зр. Вскоре однако имел он справедливый повод пожалеть своего благодетеля для К., ибо тот оказался не только в службе своей неточным, но паче сего еще человеком безнравственным, лукавым. По той причине о. Паславский относился по несколькократно в Львовскую консисторию с просьбой, чтобы та же прислала ему в Ведень способного дьяка, которому он готов был, кроме постоянной платы, дать еще у себя и выгодное жилище. Но меж тем дьяк такой из Галичины не являлся, а с К. шло дело с каждым днем горше и все горше. В месяце мае 1846 г. прибыл во Ведень некий о. Прокопий, правосл. священник из Буковины, который для переведения некоторых тягостных дел своего прихода должен был сдержаться в той столице нисколько месяцев. Тот же бывал также в церкви св. Варвары, познакомился тут и с помянутым дьяком, с которым, зашедши одного вечера в якую-то господу, зачул от него при стакане пива беседы столь безбожные и богохульные, что со сгоршением опустил сейчас его товарищество, заповедавая ему внести против него жалобу к его настоятелю-пароху. В самом же деле на другой день рано о. Прокопий явился с такою жалобой у о. Паславского, наставляя в своей священнической ревности на немедленное удаление из церкви Божьей человека, который не верит даже в Того, Ему же по званию своему служит. Тогда о. Паславский написал уже к самому впреосв. митрополиту Михаилу Левицкому нарочно просьбу, о чем скорейшее прислание дьяка для своей церкви, а выжидая прибытия такового с дня на день, принужден был, в недостатку другого певца церковного, держать еще до времени сего человека. В тую-то пору он, хотя человек в самом расцвете своего мужеского века, но, вероятно, в видимом опасении перед местью злобивого безбожника, списал собственноручно свое предсмертное завещание*, сохранивши тое ж в бюро своем под

* По сему завещанию о. Паславский записал все свое имение в ценности до 1000 зр. в пользу русского женского монастыря в Яворове, брату же Гавриилу - свои книги, образы и священническую одежду. Между паперами его найдено тоже рукописную летопись Веденьского прихода, в которой он, между прочим, записал и о Спиридоне Литвиновиче, что тоже, заехав-

замком. И предчувствие его вскоре оправдалось самым страшным способом. Дня 24 юния помянутого года о. Паславский, совершивши по 8 часе рано св. богослужение в своей приходской церкви, зашел после того за великий алтарь, где по своему обыкновению еще с час у аналоя читывал из книг церковных дневные молитвы, весь погружен в богоговенье. Тую минуту употребил бессовестный лукавец к исполнению своего мстительного замысла. Забегши в дом о. Паславского, взял тут из кухни сокиру, повернул с нею, скрытою под одеждею, в церковь и, заперши туго изнутри, совершил на молящемся у алтаря служителе Божьем ужасное, доселе в летописях Руси неслыханное убийство, изрубавши освященную голову своего благодетеля многими смертельными ударами до непознания! Когда около полудни отворено церковь при помощи слесаря, найдено у алтаря труп о. Паславского, весь в крови лежащий, а в правой руке его пригорсть выдертых волос К...ка, служивших ораз доказом насильной обороны перед убийцею.

Для довершения того сумного рассказа об убиении о. Паславского прибавляем здесь еще, что мстивый безбожник не поперестал на той одной жертве. В своем разъярении он, выбегши из церкви св. Варвары, которой двери запер старанно, ключи и сокиру скрывши под одеждею, пошел оттуда прямо на передместье Landsstrasse - в тот дом, где на станции жил оный православный буковинец о. Прокопий. А тот же, можно сказать, по особенному благоволению Провидения имел случайно одного же дня столь богато занятия в городе, что там же остал и на обед и не вертал домой аж до позднего часа ночи. Затем злобивец К. от 9 часа рано целесеньний день присиживал в супротивном доме в кавярни у окна, смотря оттуда неустанно в ворота дома, где жил о. Прокопий, да ежевременно забегал и к его станции, с горячковым нетерпением выжидая прибытия своей другой жертвы. Аж под вечер, когда уже и до помянутой кавярни донеслись вести об утреннем убийстве в церкви св. Варвары, ба уже и по имени называно убийцу, за которым по городу следила полиция, - аж тогда сей лукавец удалился поспешно из кавярни и, не исполнивши своего другого дела мести, исчез из виду людей в мраках ночи. Только в четыре недели после того трагического события найдено где-то в корчах над Дунаем коло Ведня (в окрестности Augarten) труп зловонящий, на котором сконстатовано самоотруение сильною дозою арсеника, а в искаженном трупе познан убийца

ши раз в Ведень, в угодность латинянам служил там службу Божью – на оплату. Та летопись о. Паславского сохранялась в церкви св. Варвары, но где она теперь, не знаем.

о. Петра Паславского.

С приметным содроганьем чувств рассказывал наш Михаил то печальное происшествие, поразившее его летом 1846 г., и при каждой поминке о своем любимом шурина о. Петре Паславском выражался он с искренним убеждением: «Праведный был человек, с великим характером; если бы был прожил, непременно стал бы был Руси владыкою!».

В том же 1846. г. понес наш Михаил еще и другую страту, болестную для всей его родины: старшая сестра Мария Галецка, бывшая его добродетелькой и как бы другою матерью за двократного побыту его в городе Решове (за гимназийских студий и за судовой практики в г. 1830-31), упокоилась в селе Залесьи под Решовом, оставивши в глубокой печали мужа-вдовца Георгия и две выданные дочери: Людвигу Ганасевичову и Каролину Феттерову. Женщина то была, как мы уже упоминали, живым темпераментом, быстроумием и всею своею личностью наиболее похожа на мать Анну, затем страта ее тем доемнейше опечалила сердце нашего Михаила.

Из литературных новостей того времени подивлял Михаил наш красивое издание русского альманаха, появившегося в г. 1840 в Ведни под з. «Венок русинам на обжинки, уплел Иван Ф. Головацкий» (Часть I). Сия книжечка, хорошенькая внешностью и содержанием, была одной из тех немногих плодов нашей словесности с периода до 1848 г., которые численнейше других распространялись в кружках русских, особенно меж молодежью - так в школах университетских, как и даже по гимназиям. Был убо тот «Венок» Ивана Ф. Головацкого (жившего тогда в звании войскового лекаря в Ведни) некая продолжением словесных трудов тогдашней молодой Руси, которая свой первый несмелый и меньше удачный выступ на поприще литературы сделала еще в г. 1837, издавши тогда за границу отечества, в мадыарском городе Будине, подобный альманах под з. «Русалка Днестрова» и стягнувши на себя тем изданием, а больше употреблением в нем новаторской, чудовищной орфографии негодование от стороны старших русинов. Альманах веденьского издания 1846 г., явившись в исправной форме что-до правописи^{*}, избег негодования

* Такое же мнение о о. Петре Паславском высказывали многие другие поважные, а бессторонные люди, знавшие его за жизни лично, яко то между прочими выслуженный протоигумен чина св. Василия впр. о. Емилий Коссак, бл. п. кр. Гинилелич, Иосиф Ляврецкий, наш языкослов Иосиф Левицкий и др.

** Издатель выкинул только полугласную ъ на конце слов; но в II части своего «Венка», напечатанной г. 1847 тоже в Ведни, исправил и ту погрешность, употребляя во всем точно правопись славяно-русскую.

старшей Руси, а добором прекрасных статей и стихотворений самых ударованнейших писателей русских приобрел общую признательность и одобрение всей тогдашней нашей публики.

С сожалением только признавался Михаил на старости лет, что даже и той прекрасной русской книжечки не умел тогда еще читать сам, а давал ее себе отчитывать какому-то ученику Самборской гимназии, беглому в русской азбуки еще из сельских школ, - да и на старости пригадывал он с умилением, что «ни одна русская книжка перед тем не пленяла его так дюже, как именно сей веденьский «Венок», милый для ума и сердца содержанием, для ока же красивыми гражданскими черенками и белой бумагой». Особенно понравилась тут Михаилу поважная и ядреная проза обоих братьев Головацких, т. е. самого же издателя Ивана и славного нашего Якова, да из поэзий наибо́льше мелодийные песенки Маркиана Шашкевича: «Шуми, ветре, шуми, буйный», «Ох, ты, доле, лиха доле», и «Повеи, ветре, ветресеньку, там, где тужит мила», которые поистине все так аж просятся до спеву хором. Вообще уверился наш энтузиаст для «Венка» о великих успехах молоденькой словесности русской, наипаче под взглядом образования языка, который из-под пера юных писателей русских, восторженных на поре своего неснянного развития, выходил весь поэтичный, спевный и плавный, как тот чудный щебет певца весны - соловья.

Не меньше того занялся тогда Михаил наш и немецкой брошюрой под з. «Uiber die Zustände der Russinen in Galizien», изданной в Липску 1846 г., которую привез ему давний друг его о. Иларион Ильницкий, заездивший из суседней parroхии Сельца часто в Самбор и тут с Михаилом дружелюбно сообщавшийся. Брошюра та была произведением резкого пера нашего Иосифа Левицкого, тогда пароха в Грушове Мокрянского деканата, который уже от г. 1843 начал сперва в чешской газете «Dennice» ученого И. Дубровского, потом в «Jahrbucher für slavische Literatur, Kunst und Wissenschaft» д-ра И.П. Иордана помещать свои полемические статьи о печальном состоянии русской словесности в Галичине, стараясь строгими над меру выходками против митрополита Михаила Левицкого, кр. Иоанна Могильницкого и о. Иосифа Лозинского побудить дремавшую тогда Русь нашу к большой деятельности на поприще народном и литературном. А несмотря на то что выходки и упреки И. Левицкого против помянутых и других заслуженных мужей-русинов были под многими взглядами слишком пристрастны и на то время даже несправедливы, но вышереченная брошюра его, составленная из статей липского журнала д-ра Иордана, а списанная, впрочем, с жарким русским патриотизмом, была в лето своего появления сильно

распространена и производила побудительное действие у русинов. Она понравилась также нашему Михаилу, который тогда же выразил свой восторг перед другом Иларионом выше меры обыкновенной^{*}.

В г. 1847 дознал снова Михаил, дознала и самборская Русь чувствительную страту через смерть о. Автонома Реваковича, пароха при соборной церкви в Самборе, упокоившегося д. 9 апреля на 79 году жизни, а на 54 году своего священства. Яко родной брат матери Анны Качковской о. Автоном уважаем был самым близким да по преклонному веку найстаршим членом родины дубненских Качковских, которая в живых имела теперь уже только трех братьей, принадлежащих по своему воспитанию к генерации нашего XIX столетия. Со смертью о. Автонома утратила и «старосамборская» Русь одного с преимущественных своих репрезентантов, из числа которых померали еще перед ним старики: Трофим Качковский в 1841, Поликарп Качковский в 1844, Василий Яновский в 1845 г., а старшего от него уже в целом Самборском округе и не было.

Уронивши искреннюю слезу на свежоусыпанной могиле своего милого дядька, Михаил наш привязался теперь тем нежнее до осиротелой его родины, состоявшей из матери-вдовы, 3 сынов и 4 дочерей. Особенно возобновил он тогда свою давнюю дружбу со старшим сыном Автонома о. Наркисом Реваковичем, ровесником и школьным товарищем своего брата Иоанна, в то время парохом Новоселок-Гостинных Комарнянского деканата.

И других добрых друзей своих встретил он в тую же пору в Самборе, заездивших частейше туда по случаю убегательства о сию парохию из суседних деканатов. В числе тех же были именно о. Николай Негребецкий, парох Купнович, комарнянский декан, и о. Иосиф Ляврецкий, парох Броницы и настоятель Мокрянского деканата.

Первый из них, о. Негребецкий, молодой веком (рожд. г. 1809), но отличенный заслугами как изрядный богослов и проповедник, начавши еще с г. 1833 свою душпастырскую деятельность в Порохнику Канчужского деканата, был отдавна добрым другом родины Качковских, больше же всего почитателем нашего Михаила, который еще за университетских своих студий во Львове учил его математике и латине. Дружба такая имела из обеих сторон крепкую связь, и она про-

* О.И. Ильницкий в своем письме изд. д. 21 июня 1876 г. дает нам о том событии следующее короткое, но характеристичное справозданье: «Когда в г. 1846 вышла брошюра "Zustande der Russinen in Galizien", а я получил ее до перечитанья, поехал я до Самбора, дабы тую ж моему другу Михаилу как ревнителю - русину прочитать. Я встретил его по обеде вертающего домой; он запровадил меня до себя, а по перечтении сказал мне: "Tos mi rap przuyetny dzien w zyciu zrobil," послал по воду Щавницку и вино да угощал меня - хотя то не было у него звычайем».

должалась даже до смерти о. Негребецкого, последовавшей в 1858 г.

Второй из тех друзей Михаила, о. Иосиф Ляврецкий, о котором еще не раз придется нам упоминать в дальнейшем течении сего биографического очерка, достоин уже и на том месте нашего близшего с ним познания. Рожден в г. 1797, он кончил с отличием все студии, именно гимназийские школы в Перемышли, философию и богословие во Львове да, высветившись в г. 1821 безженным, сперва был капеляном при епископе Иоанне Снегурском, потом около 15 лет священником при ц. к. галицком полку, в крепости Оломуцу стоящем, а спенсионовавшись яко такой в г. 1839 (с жалованьем 600 зр. м. к.), жил приватно во Ведни, с ревностью помогая своему давнему другу о. Петру Паславскому в деле поднесения лепоты восточного обряда в русской приходской церкви св. Варвары. Повернувши в г. 1843 в Галичину, получил парохию Броницу и вскоре потом чин декана мокрянского, а яко муж со всесторонним образованием и розголосоный ревнитель русского обряда был еще за жизни недугующего о. Автонома по общему мнению предопределен его наследником на Самборскую парохию, которую и обнял он вскоре после того же смерти из назначения консистории, действуя тут со славою как самборский декан и крылошанин даже до своей кончины, т. е. до 26 декабря 1873 г.

Дружба Михаила с о. Ляврецким была не так давной даты, но милая своим зачатием - в доме о. Петра Паславского в Ведни, где Михаил наш пребыл несколько дней своей летной отпуски в г. 1840 и уже на первой встрече с тем отличным мужем возымел для него высокую честь и искреннюю приязнь. Поистине бо был о. Ляврецкий из природы одарен такими свойствами души, которые поневоле пленяли сердца всех, возбуждая в них, безусловно, доверие, соединенное с уважением и любовью. Яко человек в свете бывалый, собиравший опыты и ведомости так на палатах, як и в притонах нужды, в больницах и лазаретах войсковых, он познал людские недуги души и тела во всех их проявлениях, да яко правый гуманист старался исцелять их богатым запасом знаний из области наук не только своих специальных, но и медичных, до которых от юных лет имел особенное замилованье и собственно призвание. Потому-то издавна прослыл он между людьми природным лекарем, да и сам он пользовался тою славою вовсе не для зыску, а для заспокоенья своих благородных стремлений - на благо недужного человечества.

* Ровной славою «чудных лекарей» пользуются еще и донныне два оо. Ляврецкие в Сяноцких горах, куда заезжают к ним от всех сторон края особенно люди, страдающие грудными болезнями. Видно, что призвание к лекарскому искусству есть в родине Ляврецких наследственно.

Само собою разумеется, что личная дружба с тем примечательным человеком, к тому самым лучшим патриотом русским, была для нашего Михаила весьма пожаданна и на него благовлиятельна, хотя после того возобновления ее в Самборе друзья наши вскоре снова разлучились на целых 8 лет (до октября 1855 г.), по истечении которых, еще раз соединившись, жили уже оба в тесной дружеской связи таки до смерти, временно одна с другою недалекой.

На летних месяцах того же 1847 г. достигал Михаил наш уже 45 лет жизни - достигал веку, который обычно уважается уже переходом к пределам старости, а еще не утвердилась, ба почти не повстала в нем серьезная мысль о женитьбе - той высокой цели житья каждого добросовестного человека. А выдается-то даже удивительно, что муж, такой крепкий, здоровенный, одаренный хорошими свойствами души и сердца, а к тому отъявленный энтузиаст для женского пола, допустил тут «наилучшим летам» пройти мимо, не женившись, не ставши хозяином своего дома семейственным. Но уменьшится наше удивление, если пригадаем прежде всего чрезвычайную живость его характера, не дававшую ему ни предмета любви себе постоянно позыскати, ни влюбиться так на-серию и с такою постоянностью, як того для заключения супружеских союзов поистине требуется. Кроме того же, был он через 8 лет найкрасшой «жениховой» поры акцесистом да авскультантом с так скромным годовым жалованьем, что направду о жене не смел и подумать; потом, за получением большой платы на посаде актуария, последовали оные холоднейшие 40-е годы жизни, в которых человек не так уже скорый до женячки, а если и женится, то больше по расчетам тверезого рассудка. А на таковую женитьбу казалось нашему Михаилу еще довольно времени в будущности, и он «ждал затем себе поры, аж коли дослужится золотого колиеря, с которым и жениться можно тем корыстнейше».

Но таки и с «золотым колиерем» не было суждено Михаилу жить женатым и отцом семейства.

Дня 7 юния 1847 г. получил он царский декрет, именующий его криминальным советником с жалованьем 1200 зр. м. к. в год, но враз же определяющий ему круг действования в том новом звании где-нигде, а то при карном суде в местечке Висяиче - на Мазурах. В силу того декрета обязан он был опустить милую Самборщину, где уже с людьми близко сжился и где по своему плану рад был как советник в доме какого русского священника ожениться, - готовился сейчас переселяться в чужой сердцу свет, да так и видел себя принужденным отречься повзятой мысли о женитьбе уже по той причине, что, как сам он часто твердил, «нельзя русину жениться

с мазуркой»^{*}. На Мазурах вскоре «заскочил» его 1848 год - возрождение Галицкой Руси - участие чем-раз больше взмогающееся в подвигах той же Руси народных, в издательствах ее литературных, дальше разбудилась вновь наклонность к путешествиям за границу, наконец, старость, а с нею тем большее жертволюбие для духовых благ нашей Руси - самые-то события, которые одно за другим все сильно отвлекали от женячки и решительно побудили нашего Михаила стариться да умереть стариком на 70 годах жизни безженным.

Повертая назад к рассказу о достопамятном для Михаила авансе его из актуария в советники, упомянем тут и о вероятной побудке к тому авансу, как о сем рассказывают сведущие тех дел люди. Михаил - так гласит сие предание - удался в начале 1847 г. по совету яко-го-то знакомого русского иерарха (чей же которого из трех наших владык) с письменной просьбой к царскому престолу, в которой, жалующись на двократное претерование свое при номинации советников ц. к. суда, заявил себя «лояльным русином, который ведай ничем не отстоит от лояльных поляков, прежде него авансовавших»^{**}. Имела ли та просьба свое действие, или попер ее своим влиянием кто из русских иерархов, у царского двора тогда поважанных, не знаем; довольно, что в течение того же года именован «лояльный русин» в самом деле советником - на Мазурах! О тую «ссылку на Мазуры» он не просил вовсе; но она может еще ныне послужить доказом, что в высших судебских сферах уже и во время оно были очи, которых заколола «русская лояльность» просителя.

Возрадовавшись и вместе опечалившись своим номинационным декретом, наш советник сейчас изготовился к переезду на свое новое становище да, попрощавшись чувствительно с самборскими друзьями, отправился в дорогу, завертая тую аж на Львов с такой нарочно целью, дабы там отбыть службовые и церемонийные визиты у высших властей и лиц по случаю своего аванса. Исполнивши тот необходимый долг во Львове в новосправленном мундире «с золотым колиерем», он не преминул зайти и к преосв. епископу-суфра-

^{*} Один его сродник, упоминая о побытии Михаила на Мазурах с г. 1847-1855, пишет нам следующее: «Jego przeicie sie literatura ruska tak go zajmowalo, ze niezostawil sobie czasu pomyslec o potrzebach osobistych, - a nie majac w Wisniczu zadnej komunikacji z ludzmi swej narodowosci, zapomniał i ozenic sie».

^{**} Один добрый друг Михаила цитует вам из той же просьбы даже следующие слова: «Wahrscheinlich – für einen Pohlen gehalten – bin ich praeterirt; doch bin ich kein Pohle, sondern ein loyaler Ruthene». Нам кажется, текст русский, повыше наведенный и списанный со слов одного чиновника, больше властивым содержанием помянутой просьбы.

гану Григорию Яхимовичу, который повитал его как давно знакомого ученика своего, радуясь о его возвышению на службе царской, и благословил его на дальшую счастливую путь жизни.

Из Львова поехал Михаил наш прямою дорогою мимо Перемышль, где задержался так же с нарочной целью, дабы представиться тогдашнему настоящо русскому владыке кур Иоанну Снегурскому. Представление то навсегда милым стало памяти Михаила так по поводу сердечной искренности, с якой принял его у себе популярный тот и наиболее улюбленный Руси святитель, як и по тому приятному обстоятельству, что весь разговор с ним отбывался от начала до конца в русском языке. Владыка Руси задержал у себе советника-русина на целый день, беседовал с ним прилюдно о всей его дубненской родине, которую знал и любил как свою братию, как своих детей, - особенно же выражал по несколькократ свое сожаление о смерти о. Петра Паславского, столь несчасно случившейся перед годом, да из другой стороны не залишил похвально упомянуть о брате того же Паславского о. Гаврииле, которого сборник «Наук парохияльных» - первый труд того рода в галицко-русском наречии - издан был недавно (I часть еще в 1842, II часть в 1846 г.) в Перемышльской епископской типографии. Также возвестил он при той случайности Михаилу, что намерил овдовевшего шурина его о. Георгия Галецкого, тогда пароха в Залесьи и канчужского декана, спровадить в Перемышль в звании пароха соборной церкви и крылошанина*.

Ободренный на той гостине у перемышльского владыки в своем русском патриотизме и одушевлен архиерейским благословением, Михаил отправился дальше в свою дорогу, посетивши на проезде еще своего старшего брата о. Иоанна в Дубне и своего шурина о. Георгия Галецкого в Залесьи под Решовом, сообщая тому последнему приятную весть о предстоящем назначении его в иерархи Перемышльской владычой капитулы.

Не скорше как в месяце августе того же года прибыл он в определенное для его службы мазурское местечко Виснич, а уже в другой половине следующего месяца достигла там его печальная для целой Руси весть о смерти Иоанна Снегурского, последовавшая после короткой болезни в Перемышли д. 12 (24) сентября 1847 г. Як и прискорбно подействовала та весть на русинов вообще, а на

* Сие намерение исполнилось и в самом деле вскоре по смерти преосв. Иоанна Снегурского в 1848, и тогда на место переселившегося в Перемышль кр. Г. Галецкого стал канчужским деканом о. Иоанн Качковский из Дубна, бывший уже сверх 10 лет вице-деканом и куратором библиотеки деканальной, а парохом в Залесьи – зять кр. Георгия о. Юлиан Ганасевич.

Михаила нашего в особенности, который еще так недавно видел сего изрядного благодетеля своей родины совершенно здоровым и помимо его 63 лет веку не стариком, а крепким мужем; но из другой стороны ободряло всех и поднесло на духу вскоре распространившееся известие о предсмертном завещании владыки Иоанна - самом прекрасном помяннику его жизни и кончины святительской. Завещание то, учреждающее великодушно всем имением покойника значительные фонды в пользу просвещения и духовных успехов Руси, укрепило Михаила еще в большой чести для приснопамятного святителя и уверило его в той правде, что муж он, который «стремил и достигал до великих целей, был истинно великим». То ж и сознавался Михаил наш на старости лет, что именно уже то векопомное завещание Снегурского возбудило в нем по первый раз желание и мысль последовать его примеру в случае присбирания щедрейших средств в будущности.

Упомянем еще о новом месте пребывания Михаила - о мазурском местечке Виснице. Оное местечко, считая 2300 душ мазуров, а 2500 евреев, принадлежит к числу самых малозначных городков данного Бохенского округа, не имея, кроме каменного здания когда-то кармелитского кляштора, кроме почты и тривиальной школы с одним учителем, впрочем, ничего больше, что различало бы его от соседних мазурских сел, разве что имеет оно еще и так званый рынок, переполненный еврейством. Одна только околичность, что в сем местечке Виснице, когда-то «дворской столице» воеводы Станислава Любомирского, построил тот же воевода Польши после своей Хотинской победы над турками в 1621 г. великий каменный кляштор для босых кармелитов, поднесла значение оного местечка не лишь за Польши, но и за владения Австрии. Сталось бо так с помянутом кляштором, что австрийский царь Иосиф I, уничтоживши в г. 1763 чин кармелитов в Виснице, перетворил порядочные кельи их в хранилища для криминальных арестантов Бохенского округа, - а понеже к тому в пространном кляшторном здании находилось еще довольно больших комнат и зал, пустою стоящих и к бесплатному помещению канцелярий весьма удобных, то он же, благоразумный монарх, учредил тут с г. 1780 также ц. к. карный суд, который и существовал в Виснице даже до новейшей организации, т. е. до г. 1855.

К тому же карному суду в Виснице определен был с г. 1847 в звании советника наш Михаил, которому, очевидно, после дотеперешней службы его в Самборе, имеющем сверх 12 000 жителей, всякие дикастерии чинов да, кроме мужских и женских головных школ, еще и полную гимназию, выдался теперь городок Виснич именно тем, чем и был: местечком, несмотря на хорошую подгорскую

окрестность, нужденным, заглохлым и от еврейства занечищенным. Но помимо того всего он, природный - як сказано - оптимист, вскоре удомашилня и тут, привык яко-такo и до мазуров, несмотря на многие свойства, различающие их некорыстно от русинов.

Дабы еще хотя мимоходом показать душевное настроение Михаила на первых порах побыта его среди мазуров, наводим тут из письма, в 15 месяцев по приезде в Виснич писанного им к давнему другу о. Илариону Ильницькому, следующий занимательный урывок: «Gdym jeszcze w tamtych zostawal stronach, mialem z panskiej laski niemala o postepie literatury naszej wiadomosc, a nawet z cyrylika obznajomilem sie niecos. Tutaj poprzestac musze na marzeniu o drogiej mi narodowosci i mowie naszej, i na odspiewywaniu niektorych piosnek w jezyku naszym... Wreszcie kontent jestem, jezeli temi piosnkami luba jaka Mazurke zadowolnic potrafie. (Zwrotka znanej panu zapewnie piosneczki: “U susida chata bila – u susida zinka myla; a u mene ni chatynki – ne ma szczastja, ne ma zinki”, - najbardziej sie tu naszym molodycom podoba). Chociaz Wisnicz przy pieknych, a nawet zachwycajacych okolicach i niektorych innych przyjemnosciach – ma te dla urzednika, wojazowac lubiacego, bardzo wazna dogodnosc, ze w kilka godzin mozna byc za granica, zem tedy z dotychczasowych dla zwiedzenia cudzych krajow przeznaczonych urlopow w Galicyi prawie nic nie potrzebował utracic; to mie cos przecie w ruska Galicye ciagnie i z kazdym dniem przekonuje, ze i ja podlegam temu, co Niemcy Heimweh nazywaja».

Предоставляя дальнейшее описание чиновных событий от 1848 года к II части биографии Михаила Качковского, мы не можем воздержаться, чтобы не дать здесь еще короткий загалный очерк всей его службовой деятельности при ц. к. суде, выписанный из чиновнического «Personalstand-Ausweis», який о нем и дoныне сохраняется в дотычных судовых архивах. Ото сей «официальный выказ» в русском переводе: «Михаил Качковский служил непрерывно от дня 19 марта 1832 года - а то до 2 юлия 1833 яко акцесист при ц. к. галицком апелляционном суде, - а до 6 юния 1847, частью как авскультант, частью как актуарий при Самборском ц. к. карном суде; от 7 же юния 1847 до 28 сентября 1855 яко ц. к. криминальный советник (Kriminal-Rath) при ц. к. карном суде в Висниче; а от 29 сентября 1855 служил он, вследствие решения, в министерии правосудия из 29 юния 1855 яко ц. к. советник краевого суда (Landesgerichtsrath) при ц. к. окружном суде в Самборе с годовым жалованьем 1600 зр. мон. конв.; в году 1857 поднесен в высшую степень жалованья в 1800 зр. мон. конв., а в силу закона из 24 апреля 1869 года вызначено ему жалованье в 2000 зр. а. в. - решением из 20 марта 1872 пен-

сионован с полным жалованьем и с наданием ему титула советника высшего суда краевого (Oberlandes-Gerichts-Rath), а дня 8 августа 1872 на путешествии из Швеции в Россию помер в Кронштаде».

ВЕСНА 1848 ГОДА

Прибывши под осень 1847 г. в новом своем звании криминального советника в мазурское местечко Виснич, наш Михаил застал тут при ц. к. карном суде, состоящем из председателя, 6 советников и с 10 подрядных чиновников, одного русина, тоже попovichа, веком о год молодшего, по летам службы и авансом старшего. Был то именно криминальный советник г. Константин Кмицикевич, с которым от первого же дня познaкомления в Висниче завязал Михаил наш самую теснейшую дружбу, сохраняя ту неизменно даже до своей смерти.

Тот новый друг, висничский «Диоскур» Михаила, принадлежащий с 1848 г. к числу явных патриотов русского мирского сословия, достоин из обоих тех взглядов близшего нашего познaкомления, которому и посвящаем тут следующий биографический очерк:

Константин Кмицикевич, сын священника о. Иоанна, бывшего парохом в Дикове Олешницкого деканата, родился в г. 1803, а, отличаясь с самой юности великой прилежностью в науках, предназначен был, заровно как наш Михаил, к правничным студиям, по окончании которых во Львове в г. 1826 избрал, подобно ж Михаилу, практику при ц. суде, исполняя тую же сперва во Львове, потом с г. 1828 при карном суде в Висниче, где пробыл авскультантом 8 лет, а то первые 4 лета бесплатным, другие с годовым жалованьем 200 зл р. мон. конв. В г. 1836 он именован был судебным актуарием с 700 злр. жалованья и в том звании перенесен к апелляционному суду во Львов, где, пробывши на службе дальших 4 лет, поднесен был в г. 1841 на степень криминального советника, а яко такой выслан того же года снова на Мазуры в городок Виснич. Тут действовал он в звании советника других 8 лет*, потом, в мае 1850 г., именован апелляционным советником при высшем краев. суде во Львове, откуда при новой организации судов в г. 1855 перемещен был к апелляционному суду в Краков, а в г. 1862 назначен снова к высшему краевому суду во

* Тот вторичный побыт его на Мазурах стал роковым в его жизни: познaвшись в г. 1847 в Висниче с донькой одного тарновского обывателя, венчался с той же в Тарнове 1851 г., но в несколько лет потом жена сия опустила его своевольно и тем подала повод до разлуки навсегда в дороге правной.

Львов, где служил уже беспрерывно до 1869 г., в котором-то году и спенсионирован после 41 лет службы с полным жалованьем 2500 злр. ав. Участвуя с г. 1848 в подвигах возрожденной Галицкой Руси jako член знакомитых обществ ее, именно «Матицы» и «Народного дома», он, по выслужении ц. службы в г. 1869, принял павший на него выбор первого старейшины Львовского Ставропигийского института и в том звании действовал три лета с прилежной ревностью, доколе усилившаяся недуга очей на преклонном веку не побудила его отказаться от принятия выбора такого же на дальшее время.

Дружеское сожитие сов. Кмицикевича с нашим Михаилом в Висниче, продолжавшееся полных два лета, совпадает с самым интересным периодом истории нашего края - с периодом потрясающих волнений и переворотов, которые по природному развитию событий опрокидывали давние социально-политичные основания, а заготовляли новый лад во всех отношениях тукраевого жительствова.

Именно в западной части Галичины, среди жаркокровных мазуров, тот период переворота (революты) самым грозным способом объявился еще в начале 1846 г., и когда Михаил наш под осень 1847 г. проезжал в Виснич мимо округи Решовский, Тарновский и Бохенский, он встречал тут по дороге еще следы того грозного времени: зруйнованы панские дворы и свежоусыпанные могилы панов - шляхты...

В самом же Висниче он нашел на новом поприще своего действователя - в криминальном местном суде - целые стопы тяжбных актов, относящиеся к ужасным событиям 1846 года, а многие из тех, еще не покончены, переданы были ему в реферат к судейскому разрешению. Тут-то изучал он наглядно и у самого источника деяния мазурского бунта, изучал целую хронику той дивной ребелии тем основнейше, что руководителем и верным интерпретом был ему здесь сов. Кмицикевич, в исключном реферате которого находились именно головные эпизоды революты на весь Вадовицко - Бохенский округ и на часть Краковской области.

Он-то, сов. Кмицикевич, указывал тут своему русскому другу Михаилу крепкие здания Висничского замка и когдашнего кармелитского кляштора, построенные в XVI и XVII столетиях воеводами Кмитами и руками пленников татарских за славного воеводы Станислава Любомирского; указывал подземельные в них вязничные кельи, в которых за времен Польши схоронялись уголовные преступники да полоненные старшины из войн русско-казацких и татарских, а в которых-то обоих зданиях - дивным поведением судьбы - за владения Австрии в оном 1846 г. затворено сверх 300 людей-поляков, большую часть панов-шляхты, разбитых малым отрядом

ц. к. майора Бенедека в потычце под Гдовом, но на бегстве соромно половленных, сповязанных и приставленных мазурскими селянами к суду криминальному в Висниче.

Дивную судьбу тех каменных зданий польского Виснича подивлял наш Михаил теперь на самом же месте, да еще о дивнейших событиях Польши из того бедственного ея времени уведал он тут тем основнейше так от своего помянутого друга, как и от бессторонних людей местных, именно: что в мазурских округах, когда происходил он, несчастный мятеж, чиновники судовые и политичные, так поляки, як и немцы, одни заповедали себя недужными, другие укрывалась не зная куда, и затем целое дело усмирения и суждения бунта поверено было почти исключительно тем немногим высшим чиновникам-русином, якие случайно здесь на службе царской оставались, а которые одни за прочих недужных или скрывшихся каждоденно здоровы в чиновные бюро являлись. Так, напр., в Тарнове, в самом ужасном центре мятежа, принуждены были исполнять сию тяжелую и опасную задачу политичные комиссары высшей степени, русины-поповичи Антоний Калитовский и Иоахим Хоминский, из которых особенно тот последний за приобретенную еще давнейше популярность свою между мазурами-селянами стянул на себя пристрастную ненависть и наичернейшие клеветы от стороны панов-шляхты; в Висниче же передано было в оное время не только судовое делопроизводство с политичными преступниками, но и относящееся к тому личное сообщение с «недужным» Бохенским староством крим. сов. К. Кмицикевичу, который один из всех чиновников Висничского суда был тогда здоров и имел отвагу ехать в Бохню сквозь толпы вооруженных селян, стоявших грозной стражей по всем дорогам против панов-поляков. Даже и в Самборе реферат горожанской sprawy в том году поверен был преимущественно нашему Михаилу Качковскому, тогда актуарию Самборского суда, отличавшемуся всегда крепким здоровьем и цивильной чистой совестью отвагой^{*}.

И мимоходом скажем тут, что, хотя те чиновники-русины за верное исполнение своих обязанностей подверглись были непростибельному гневу и очернениям со стороны аристократов польских, но отличные свойства и добросовестная деятельность их на царской службе приобрели признательность в. правительства даже в

* Из достоверных уст знаем, что в то время один богатый помещик от Горожаны, подверженный за участие в мятеже судовому исследованию, предлагал нашему Михаилу великий откуп за себя в золоте, но дознал за то соромной укоризны и тем строжшего засуда, который, однако, заровно как и подобные другие, не был исполнен вследствие выданной вскоре потом монаршей амнистии для политичных преступников.

то время, когда польская партия в краю нашем снова заняла было больше влиятельное становище. Так, напр., оба наши судовые советники К. Кмицикевич и М. Качковский удостоились значительного аванса при случае нового устройства судов в году 1855, а окружные комиссары наши Тарновские, А. Калитовский и Иоах. Хоминский, стоявшие по своему званию в непосредственной зависимости от краевого наместника, каким в нашей Галичине был от года 1849 с невеликими перерывами даже до своей смерти (1875 г.) гр. Агенор Голуховский, польский аристократ *per excellentiam* - те комиссары достигли впоследствии за того же гр. Голуховского также самых высоких достоинств, именно был первый окружным старостой сначала в Новом-Сонче, потом в Жолкви, наконец-таки в Тарнове, второй же - директором полиции во Львове.

Повертая назад до наших висничских друзей, с удовольствием записуем тут, что как один из них за своего долголетнего pobytu в Виснице уже отдавна позыскал себе повагу у чиновников-товарищей и местных жителей, так другой за первым же явлением в году 1847 обратил на себя внимание всех особенно своим демократизмом в способе житья и поступания, отличавшим его корыстно в очах численной низшей версты жительства от прочих высшего чина слуг царских. А як и сходны были во многом свойства их в отношении точного и прилежного исполнения обязанностей службы - свойства, известные у мазуров только по названию «твердорусского характера», но, из другой стороны, оба наши «твердые русины» сохраняли и тут свои особенности по внешней форме житья-бытья, которые различали их друг от друга почти противоположным образом. Так, напр., сов. Кмицикевич провадил издавна дом открытый для всех, бывал в гостях у товарищей-чиновников и у поважнейших мещан, а обходячи у себе ежегодно русские свята довольно выставно, принимал на Роздво, на Великдень русский и на русского ц. Константина в своем доме численных гостей, заявляя себя среди мазуров в тот способ как остентацийно русином. Насупротив того, сов. Михаил, хотя, по преданию, у многих уходил даже за богатшого, чем был поистине, не отступал ни в наименьшем от своего надмеру скромного образа жизни, не бывал в гостине у никого, кроме у друга своего сов. Константина, которого не раз таки укорял за «сутые прийма мазуров» и не принимал у себя в нанятом малом домку людей, разве по чиновному делу.

Лишь на своих ранних или вечерних прогулках Михаил наш, не смотря на гордое чувство, якое имел он о своем звании яко судовый советник, любил часто заходить в скромные хаты предмещан или блискоокрестных поселян, будь то «на молоко с разовым хлебом», а

собственно с той целью, дабы ближе познакомиться с характером и домашним бытом мазуров. Деланные тут опыты его утвердили в нем повзятое давно понятие о превосходстве русского селянина над мазурским под взглядом моральным и эстетичным, да помимовольно возбуждали они в сердце его тоску до родной Руси.

Единый «збыток», яког тот «скупой для себя советник наш» себе позволял, были, по уверенью его друга, обильные запасы добрых винных яблок, за которыми он не раз ездил в Бохню или даже в Краков, куповал их дорогой ценой, не торгуючись*, и сохранял так у себя дома, как и в канцелярийном бюро, споживая их ежедневно неимоверное количество. А была в тех яблоках, по мнению самого ж Михаила, наилучшая пресерватива для него против жарких напитков, до которых привыкать он всегда опасался, а которые вообще после спожитья большого запаса винных овощей вкусу нияк не сприяют, ибо, кажется, в таком случае суть уже для человека совсем излишние.

Но меж тем приближался достопамятный год 1848, год великих реформ и перетворений в Европе, ставший и для нашего Михаила новым периодом жизни и действованиа на всю его будущность.

Сему неизмеримо важному времени должны мы на том месте посвятить больше обстоятельную восминку, стараясь пояснить оное в таком смысле, яког свойственный был тогдашним репрезентантам нашей Руси, к числу которых вскоре явно записались также пребывавшие на Мазурах советники наши М. Качковский и К. Кмицкевич.

Мы уже выше упомянули, что время социально-политичных переворотов самым грозным проявлением началось в нашей Галичине еще с года 1846, именно от злопамятного бунта на Мазурах. Примечаем же тут, что и вообще известно, яко подобные бунты селян против шляхты не были редкостью в истории давной республики польской; но ни один из таковых бунтов не имел столько роковых для шляхотской Польши последствий, что сей мазурский в помянутом году. Несмотря бо на упорно голошенные извинения панов-поляков, что затеваемая нами тогда революция против Австрии «не удалась будто по поводу подкупления мазурских селян чрез орудия абсолютистичного министра кн. Метерниха», несмотря на те ловкие извинения, уверилась из самого факта того селянского мятежа, во-первых, вся Европа, что шляхотская Польша в Галичине не имеет

* По рассказам сов. Кмицкевича, Михаил наш, несмотря на неумеренную ошадность в выдатках на свое житье, платил в дорожню овощей иногда по 5 и 10 кр. за одно яблоко, так что небольшое мешатко того овоща, какое привозил с собой из Бохни, стоило его 5-10 злр. мон. конв., а спожито бывало ним до несколько дней.

за собой народа, затем не имеет ни сил, дабы с надеждой на успех подняться, ни основания, на каком бы ей самостоятельно существовать. Во-вторых, уверились теперь и сами паны-поляки, что уже невозможно погас прежний блеск их могущества, поддерживаемый еще и за Австрии, между прочим, на так званом «постуляционном сойме» во Львове, где до сих пор в контушах и при карабелях заседала почти исключительно одна шляхта, - уверились паны сами достаточно, что пала из голов их авреоля давной славы, затмилась звезда непобедимости их оружия, оказавшегося теперь перед косами селян ломким да ничтожным. Наконец, в-третьих, хотя бунт селянский вскоре усмирился, но народ вообще, раз взволнованный, объявил себя до дальнейшего несения ярма панщины в такой степени неохотным, что следовало непременно социальный переворот в пользу дотеперешних подданных чем скорее же до конца допроводить.

Очевидно, тот последней вопрос - вопрос о дальнейшей судьбе панщины в нашем краю - стал от той поры так по селам, как и в бюро политических, а даже судебных властей на порядку дневном. Разосланные по краю на жалобу панов помещиков войсковые отряды за-для принуждения селян к работе на дворских ланах показались самому же правительству для той цели не только недостаточными, неуместными, но даже и ненадежными, потому что уже и в простом воинстве объявлялся дух, панщине сильно противный*. Также царский патент из д. 18 дек. 1846, дозволяющий подданным выкупиться от панщины грошми или другими данинами, яко не меньше тягостный для подданных, оказался в практике неисполнимым. Не предоставляло центральной власти во Ведни ничего иного, яко употребить тут лагоднейших, но не меньше энергичных мер в цели усмирения обоих раздраженных сторон - и с тем назначением прислан был в Галичину 1847 г. наместником края изряднейший муж державы гр. Франц Стадион, уважаемый яко либерал и искренний друг народа, едино для той цели соответным.

А был же тот гр. Стадион поистине муж, с явлением которого в нашем крае заповедалось время реформы уже вовсе не грозно, но почти столько же приметно, как с возникновением мазурского бунта.

Вот здесь о том примечательном муже короткая биография:

Гр. Франц Стадион родился во Ведни 1806 г. из отца Иосифа Филипа, бывшего тогда при царе Франце I министром дел внешних,

* Бл. п. Михаил рассказывал нам, что, когда в осени 1846 г. решено было выслать с такой целью из Бохни отряд стоявшего там галицко-русского полка в одно мазурское село, капитан того ж отряда заявил старосту, что в случае действительного опоры селян он не полагает на своих воинов, панщине весьма враждебных; по тому поводу отряд сей и не выслано.

а потом, с г. 1809 до своей смерти (1824 г.), - министром финансов. Принадлежащий по отцу и по матери (тоже из дому гр. Стадионов) к самой знакомитой родине немецких графов «сиятельных» (собственно с титулом *Ihre Erlaucht Reichsgrafen auf Thannhausen und Warthausen*), гр. Франц проуказал уже в юности редкий тогда либерализм, отрекаясь своего права старшинства и фамильного титула «сиятельства» в пользу молодшего брата Рудольфа. Окончивши правничьи студии во Вьенне 1827 г., он вступил яко 21-летний юноша в царскую службу политическую в Вьенну; в г. 1828 перенесен был в звании бесплатного практиканта к наместничеству во Львов, в г. 1829 назначен концептовым практикантом при окружном старосте в Станиславове, в г. 1830 - окружным комиссаром в Решове, в г. 1832 - губернияльным секретарем в Тироле, а в г. 1834 - надворным советником во Вьенне, достиг затем возвышения в тогдашнее время необычайного, авансировавши в 5 годах от концептового практиканта до надворного советника. В г. 1841 именован губернатором Тереста и австрийского Побережья, где прославился вольнодумием своего управления до такой степени, что тогдашний канцлер державный кн. Меттерних стал уже опасаться надобыкновенной его популярности в крае, яко и стремлений его к радикальным реформам, да переместил его нечаянно под д. 21 апреля 1847 г. в том же звании губернатора в Галичину, который-то край больше других областей австрийских потребовал теперь поистине управителя со свойствами гр. Стадиона. От губернаторства в Галичине призван был он уже в конце мая 1848 г. во Вьенну для утворенья нового министерства, которое однако не состоялось; а бывши в ту же пору избран послом державного сойма от сельских громад повета Равы-Русской, принял тот же выбор с оштентационной радостью и заседал по-при русских послах в помянутом державном сойме от д. 10 июля, а даже и тогда, коли с д. 21 ноября того же года именован был министром дел внутренних и просвещения. Надмерное умысловое напряженье при занятиях в сойме и в обоих министерствах довело его вскоре до опасной недуги, которая уже в м. апреле 1849 г. объявилась замертвением орудий беседы и помрачением ума, не отступавшим его и до смерти, на д. 8 июня 1853 г. во Вьенне последовавшей.

Из 47 лет жизни того знакомого мужа державы важны для нас только два несполна года - с половины 1847 до апреля 1849 г., когда пробыл он сперва у нас краевым наместником, потом во Вьенне соучастником центрального правительства. В том надмеру коротком

* За действием влиятельного на весь повет русского селянина из Каменки-Боброуд Ивана Владыки-Залужного.

времени своего действия для нашего края он успел с честью выполнить одну высокую миссию, которой от него требовали тогдашние обстоятельства и стремящийся к преобразованиям дух времени.

Заехавши в наш край власне в такую пору (в м. юлии 1847 г.), когда во Львове казнено смертью пп. Вишневецкого и Капусцинского яко головнейших зачинщиков польской революции 1846 г., гр. Стадион старался по своему благоразумию прежде всего усмирять и так уже глубоко опечаленных панов-поляков надеждами на лучшую будущность, до которой советовал он им достигать посредством лагоднейшего обхождения с народом, как и ревнейшим содействием к его просвещению. Панам-шляхте из тех округов, где тогдашние подданные упорно отказывались от панщины, подавал он спасительную мысль предложить селянам приступную для них меру выкупа от панщины, подаряя наименьше половину сервитутов добровольно. Впрочем, не занедбывал он больше загорелых патриотов Польши охоложать указыванием на соседнюю Россию, которая будто готова каковых-либо новых бунтов в Галичине не терпеть, и о которой гр. Стадион как германец имел и расширял самые отстрашающие понятия.

Из другой же стороны, не медлил он разослать окружные письма ко всем старостам в краю с приказом точного наблюдения иосифинских патентов, изданных в г. 1781-1787 в цели больше людяного управльнения отношений подданных к помещикам, поясняя тии же патенты по возможности самым корыстным для подданных образом да препоручая устранять всякие зашедшие от тех времен злоупотребления и вообще заходиться с народом гуманно, помня на то, что «чиновники для народа, а не народ для чиновников».

В том же духу гуманности и с целью уничтожения бюрократизма гр. Стадион действовал сам в средоточии своего управления, заходя в подвластные ему канцелярийные бюро каждого времени и уделяя чиновникам своим наставления всегда в смысле вольноумной реформы и ровного всех управления. Супротив же застоялых бюрократов или неудольных слуг закона бывал он судьей беспощадным, наказывая их паче всего в тот способ, что упрекал их поступки явно посредством литографованных окружников, рассылаемых во все староства в цели посрамления виновных, а враз же для предостережения других от подобных поступков. Намеряя при том устранить раз уже узаконившееся за прежних наместников протегование чиновников чужой, особенно немецкой народности, он фаворизовал теперь преимущественно тукраевых, прибравши к своему *ad-latus* именно гр. Агенора Голуховского, а оказуючи особенное благоволение свое министерiallyному советнику Вячеславу Залесскому, изда-

телю сборника галицко-народных песней, которого, познавши еще во Ведни, предназначал достойным своего звания наследником^{*}.

Вообще вся деятельность, все чиновное и частное поступованье гр. Стадиона в подчиненных ему бюро и с жителями всяких сословий нашего края было по правде утешительным предвестием лучшего времени, верным залогом тех реформ, на якие наша больше других краев забвенная и пренебреженная Галичина издавна от правительства своего ожидала, а якие с той поры уже и начали извыше - от самой же личности нового наместника-реформатора - приметно проявляться. Был убо тот гр. Стадион даже по своей внешности из всех австрийских губернаторов, якие, начавши от г. 1772, в нашей Галичине пребывали, первый и единственный такой, который, несмотря на свое происхождение от высокой аристократии, всегда являлся в скромном одеянии мирского человека, сам лично заходил в купеческие лавки, в трактиры, в резничьи ятки, наблюдая тут за ценой, за мерами и вагами да исполняя в случае потребы справедливый суд таки на месте. Таким делом был он в очах жителей нашего края не то яко повелитель-властелин по подобию прежних шефов немецкого чиновничества или войсковой парады, но яко хозяин-демократ, первый того рода образец людянного управителя и всенародного друга.

Само собой разумеется, что явление и действование в Галичине такового краевого наместника было благодарно и радостно принято от стороны таких чиновников-демократов, якими природно были все наши русины-чиновники, яким был и наш Михаил Качковский, который, хотя по своему судейскому званию и не зависел непосредственно от политично-начальнической власти гр. Стадиона, но, яко человек с принципами народолюбивыми, смотрел на таковую деятельность нового наместника царского с ободрением и непритворным восторгом, чая от него и для русского люда добра в будущем.

В г. 1848 тот восторг нашего Михаила слился с общим восторжением воскресающих до новой жизни народов Западной Европы, к числу которых, по дивному назначению Истории, принадлежал также найдальше к востоку примыкающий народ - наш русский народ в Галичине.

Первый толчок к тому воскресительному движению народностей подала внезапная революция в Париже месяца февраля 1848 г., следствием которой было низвержение Орлеанской династии и

^{*} По уступлении гр. Стадиона из губернаторства Галичины и за его личным влиянием во Ведни стал той же сов. Вячеслав Залесский с м. августа 1848 г. губернатором нашего края, но был им всего полгода, упокоившись надто скоро, к великому сожadenию своих соотечественников.

провозглашение Французской республики. От Парижа - тогда политического центра запада Европы - волнение распространилось больше всего по Германии и по Австрии, где абсолютно владел политический друг прогнанного теперь Орлеана Людовика-Филиппа I князь Лотар Метерних.

Во Введни вспыхнуло народное волнение д. 13 марта, и того же дня уступил кн. Метерних от правления, а благодушный царь Фердинанд I издал д. 15 марта высочайший патент, торжественно объявляющий надание конституции «всем народам» Австрии.

Некий помещик-галичанин, выехавший д. 15 марта из Введня, привез первый д. 18 марта один печатный экземпляр того ц. патента во Львов и доручил оный частным образом гр. Стадиону. Возрадованный тем даром наместник гр. Стадион сделал тут поистине шаг, на какой никогда не важился бы другой, меньше конституции сприяющий чиновник царский: ото он, не ожидая на официальное доручение и на выразный царский приказ голошенья помянутого патента, велел оный сей же час литографовать, экземпляры между народ раздать, по всем ц. к. староствам разослать да обнародовал его формально посредством урядовых львовских газет (немецкой и польской) на д. 22 марта, т. е. в сам тот день, когда только что получил царское решение из дня 18 марта о публикации вышереченного конституционного патента^{*}.

Следствия того ревностного, а в наилучшей для края мысли поюзтого поспеху оказались вскоре для самого же гр. Стадиона не весьма приятны. В своем бо ликовании о наданной царем конституции наш вольноумный губернатор, не имевший, впрочем, еще довольно времени со всеми народными стихиями в Галичине, именно же с русской, ближе познакомиться, предался сначала весь одной только польской партии, которую одну и видел громко шумящую по улицам города, радостно восклицающую в честь «конституции и гр. Стадиона» под окнами губернаторской палаты. С полным удовольствием принял он затем от той же партии уже на д. 19 марта так званный «адрес к монарху», домогающийся всяких благ для одной польской народности в краю, а следующих дней, восторжен овациями академиков и начальников польской же парии, приказал под собственной ответственностью выдать из царских арсеналов вооружение на 30 000 людей львовской «народной гвардии», ба

^{*} О том факте известил сам гр. Стадион в своей оборонительной статье, которую дал напечатать в официальной «Wiener Zeitung» из д. 3 июня 1848 г. в цели опровержения меморандума польской партии из м. мая, грубо упрекавшей его во враждебном промедлении (!) оглашенья конституции, яко и в раздвоении «еднолитого народа» в Галичине.

составил при боку своем «Совет (Beirath) из мужей доверия в краю», т. е. собственно из самых почти поляков^{*}.

Среди шума польских гвардистов, среди численного заезду панов шляхты и эмигрантов целой Польши завязалась во Львове д. 15 апреля уже и польская «народовая рада», а русины наши все еще медлили выступить на сцену действия, на которой до теперь столь разголосо владела все Польша и Польша.

Только на д. 19 апреля, т. е. в целый месяц по громко-демонстрационным доручениям польского адреса, явилась у гр. Стадиона скромная депутация старших львовских русинов с кр. Куземским в челе, складая до рук царского наместника Галиции свою «петицию к монарху», списанную в немецком языке, но содержащую в цели умотивованья 7 точек просьбы о равноуправненье русского языка и русского духовенства с польским, сие добитно говорящие, на исторической правде основанные слова: «Далеко большая половина жителей Галичины суть русины. И мы, русины, отрасль великого славянского рода, имели своих власных родственных князей из поколенья св. Владимира. Когда же те вымерли, утратило наше отечество свою самостоятельность, а в политических бурях, при гонениях за веру - также свою шляхту. Однако ж ядро народа - русский народ - остал во всех бурях крепок и непоколебим при своей русской вере и русской народности, а нашей святою обязанностью есть сию каждому русину дорогую народность верно сохранить и так само неоскорбленную потомкам нашим передать».

Сие решительное, а для гр. Стадиона почти целиком новое признание поважных веком и саном русских депутатов от свят. Юра и от Ставропигии^{**}, в числе которых стоял кр. Куземский, муж с выразом железной энергии в словах и на деле, - то признание, поясненное коротко, но ядрено и убедительно таким начальником депутации, привело гр. Стадиона в удивление да в некоторого рода замешательство. Выслухавши с задумчивостью изложение русской «петиции к монарху», он после несколько мнут недоумевающего молчания задал депутатам тот памятный вопрос: «Sind Sie den – eigentlich – mit den Gross-Russen – eine und dieselbe Nation?». Только по согласном уверении наших депутатов, что они просто лишь малорусины (Klein-

* Запрошенные к тому совету епископ-суфраган Яхимович и кр. Куземский явились на заседание не скорее, как по доручении русской «петиции к монарху», т. е. тогда, когда помянутый совет уже тратил свой преимущественно польский характер.

** Было тут с кр. Куземским трех достойников Львовского собора крылошан и трех мирских чиновников, членов Ставропигийского братства во Львове.

Russen, Ruthenen), приметно различны от великорусов, ободрился сей патриот-политик германский и, отпуская наших «малорусинов» с ласкательными приречениями увзгляднения их народного дела, сейчас призвал к себе своего *ad latus* гр. Голуховского и других старшин наместнического бюро, с которыми держал просторонный испыт о давних и новейших отношениях русской народности в нашем крае.

События, последовавшие в Галичине после д. 19 апреля 1848 г., были поистине такового рода, что возмogli - при тогдашних ограниченных понятиях о Руси вообще, а при сильном содействии завистных поляков в особенности - расширить в краю, по Австрии, даже по Европе дивный тот и потешный для истории толк так званного «общего мнения»: будто гр. Стадион открыл, изобрел новый народ - народ рутенов в Галичине.

До тех событий належали, напр., следующие: Ставропигийское братство во Львове, подавшее еще в осени 1847 г. просьбу о дозволеньи издавания повременного письма русского, получило на д. 20 апреля 1848 г. от краевого наместничества концессию на такое же письмо, датованную еще 16 марта, а дорученное старейшине того же братства вице-президентом наместничества гр. Голуховским. В несколько дней после того наш епископ-суфраган кир Григорий Яхимович, помимо могучей оппозиции латинян, получил из рук того же гр. Голуховского царский декрет еще из д. 12 апреля, именующей его епископом русской Перемышльской епархии, а завязавшаяся на дне 2 мая в крылошанских палатах св. Юра под председательством архиерея кир Григория и заступника его кр. Куземского русская «Народная рада» удостоилась толикой поваги и признательности от стороны в. правительства, что самые важные монаршие грамоты адресованы и доруцаемы были впросто на имя ее достойных председателей, как то именно грамота конституции из д. 25 апреля и царский ответ на выше помянутую «петицию» русинов (из д. 19 апр.), изданный под д. 9 мая с благосклонным призволением на все 7 точек просьбы, а дорученный тоже гр. Голуховским* по адресу епископу кир Григорию как председателю Русско-народной рады.

* Губернатор гр. Стадион употреблял именно гр. Голуховского к исполнению той не весьма соответной его высокому званию прислуги «доручителя царских документов русинам» - как кажется, для того, дабы упокоить польского графа за опоздненное пояснение дел народности русской в Галичине. По крайней мере, известно нам, что гр. Стадион, бывши потом в Ветни, выражался не раз с негодованием: «Gr. Goluchowski war Schuld daran, dass ich über die Angelegenheiten der Ruthenen bereits zu spät unterrichtet ward».

Все эти события, впрочем, так просты и природны по той причине, что русский народ как издавна, так и в то время надания конституции жил и жить домогался в Галичине, - те события с прибавлениями наидивнейших клевет полономанских были рассказываемы до д. 15 мая исключительно только в польских тогда издаваемых газетах, да собственно теми испещрениями пугали безвинных людей в краю и за границей, приводили в недоумение самих даже русинов, которым по недостатку своего власного публичного органа и невозможно было перед удивленным от того светом оправдаться.

Не скорше как д. 15 мая появилось 1 число первой русской политической газеты под редакцией уконченного правника г. Антония Павенцкого и под симпатичным для русинов названием «Зоря Галицка», а враз с ней «Отозва до русского народа» из д. 10 мая, оповещающая о надании конституции из д. 25 апреля и о завязании Русско-народной рады во Львове, подписанная епископом-председателем той же рады кир Григорием Яхимовичем, двумя заступниками его, кр. М. Куземским и бл. Иоанном Борысикевичем да к тому 73 членами рады, между которыми было 35 русинов мирского звания (т. е. в числе подписавшихся 76 членов было 40 духовных, а 36 мирян).

Сия достопамятная «Отозва», которая была ораз программой новой русской газеты «Зори Галицкой», содержала те головные мысли: «Мы, русины галицкие, належим до великого 15-миллионного народа, который был когда-то самодельным, заможным и сильным, но через неприязные судьбы распался на части, утратил свою самодельность, своих князей и пришел под чужим владением до такой неволе, что соромом было русином называться. Но настало ныне время конституции: будятя до житья народы далекие и соседние, подносятся перед нашими очами на земле нашей народность польская - не можем мы одни оставаться надаль в замертвении. Пробудился уже и наш лев русский - встаем затем, братья, из долгого сна, не до спору и невзгоды, но дабы 1) поставить на равные права церкви и духовенства русского с правами других обрядов, 2) развивать и подносить народность нашу выдосконаленьем нашего языка, заведением его в школах и урядах, издаваньем книжек и писем по временных и пр., 3) чувать над нашими правами конституционными, глядеть поправленья нашего быта в дорозе уставы и боронить права наши от всякой напасти и оскорбления постоянно и сильно». Для

* Примечательно, что даже та скромная статистическая цифра Руси вошла в помянутую «Отозву» вместо первобытной цифры $2\frac{1}{2}$ миллиона русинов-галичан только на внесенье и решительное слово члена Рады Юлиана Лавровского, которого за то уважано тогда русином «крепким и отважным».

успокоенья же затревоженных «пробуждением Руси» поляков содержала та же «Отозва» в заключение сие ото для русинов поистине излишнее и даже соромительное упоминение: «При том делаем вас, братья, уважными, что так, як из одной стороны, святым нашим обовязком будет право и народность нашу против всех замахов так домовых як чужестранных сильно и стало боронить, так из другой стороны, сам Бог и право людскости наказуют, дабы мы напротив тех, которые по-при нас также о свое добро и свою народность стараются, никакой ненависти в сердцах наших не живили, но как щире суседи одной земли в згоде и едности жили».

Так сие заключение, як и вся программа «Отозвы» и «Зори Галицкой» были затем настолько смиренны и скромны, что, по мнению «малых», да уже и «наименьших» русинов, они должны были вполне успокоить тех «щирых суседей», с которыми постановлено «в згоде и едности жить». Но куда там! Так «Отозва», як и «Зоря Галицка» были изданы в русском языке и к тому старорусским письмом (кириллицей) - да именно от того пошли еще большие страхи на ляхи, а название поляков «щирыми суседами» привело их даже в крайнюю ярость.

Польские политики, рассчитывавшие уже наверно, что с оружием и помощью Австрии туй-туй пойдут войной на Россию, занепокоились, разочаровались в своих мечтаниях еще больше тогда, коли наш владыка кир Григорий Яхимович как епископ-суфраган Львовской и епископ-номинат Перемышльской епархии разослал под д. 23 мая в обе те русские дицезии Галичины окружное послание с наведением царского ответа из д. 9 мая на петицию русинов из д. 19 апреля, як и с весьма ласкательным письмом губернатора гр. Стадиона, благодарящего от имени правительства русскому духовенству за то, что оно, «подавая народу образец верной преданности к монарху и австрийскому правительству, удержало до сего времени, помимо всюда инуде владеющего забуренья, спокой и порядок в поверенных себе громадах».

Обнародовленьем тех документов в немецком подлиннике с русским переводом было сконстатовано, что Австрия в самом деле заключила интимный союз в Галичине, однако не с поляками, а с русью, и затем о «походе против России» уже никак было и подумать.

Сие окружное послание архиерея кир Григория было и для нашего Михаила первым точно документом, якой, присланный тогда же ему во Виснич одним львовским русином-другом, в первый раз получил его верно и подлинно о состоянии дел возродившейся русской народности, о которой до сих пор рассевались в польских газетах толки самые ложные и злобивые.

Признать же подобает, что Михаил наш, как и все старшие русины нашего края, привыкшие издавна смотреть на политические события холодно, безучастно, ибо без надежды на яковое улучшение своей всенародной недоли, - наш Михаил принял также первую весть о мартовой революции 1848 г. с приметным недоверием, а глядел только за дальшим ходом дел, раздумуючи, разважаячи, и посеред опоенной политическим восторгом Польши походил тут один на тверезого зрителя, пересадной игрой драмы или комедии везадоволенного.

Як убо в других городах и местечках Галичины, так и в мазурском оном Висниче повторились на последних днях марта того памятного года демонстрационно-политические зрелища, шумно аранжованные приверженцами ультрапольской партии. Як почти повсюду в местечках, так и в Висниче была иллюминация в честь наданной монархом конституции, появлялись польские кокарды, белые орлики, а вслед за ними и народная гвардия. Но понеже сельский народ, особливо на Мазурах, придивлялся тем проявлениям политического энтузиазма панов и мещан с великим недоверством, да иногда и с выразом неудовольствия, то сам же губернатор края гр. Стадион, в цели предохранения каковых новых столкновений с народом, препоручил окружным письмом, изданным в начале месяца апреля к ц. к. староствам, дабы те же вместе с чиновниками всяких дикастерий старались надавать волнениям народным в городах правильный ход в духу законной конституции, а где того окажется потреба, именно при устроении гвардии, дабы и сами они влиятельное принимали участие. Вследствие того еще в м. апреле прислано в Виснич от ц. к. Бохенского староства яких с полсотни старых вояцких оружий, и чиновники Висничского криминального суда первые ставали тут в ряды народных гвардистов. Начавши от президента того же суда до последнего возыного - все причепляли троебарвные кокарды, все выступали на муйстры с гвардейским оружием; не отказался от подневольного участия в тех муйстрах ни даже сов. Кмицикевич, вписавшийся до гвардии вслед за своим президентом. Один только Михаил наш не освещал окон своего дома в день всеобщей иллюминации, не принял предлагаемых ему разноцветных кокард да и один из всех чиновников-товарищей не записался, не станул ни разу под гвардейское оружие, ни тем меньше не надел шапочки с польским орликом. Надаремно указывано ему на примере самого президента, на волю высших властей царских - он в таковых случаях, которые в очах его казалась многоважными, имел свою волю и готов был скорее лишиться своего чина, чем хоть бы на шаг уступить против своего уверенья, против твердой своей воли. За то уже и без

всяких других манифестаций русизма мазуры в Виснице признали его с той поры решительно «упертым русином».

А ишло ж тут нашему «упертому русину» не так о тое, что мазурский народ смотрел на те демонстрации с кокардами и польскими орликами неприязно и грозно, а больше поднимала его на такой подвиг оппозиции та мысль, что не следует русину даже на польской земле заявлять будь-яким способом свое согласие мечтам о давней Польше, столь противной всему, что пахло духом русским, что носило имя русское. О таком противенстве уже же в современной Польше против всего русского имел случай наш Михаил, имел случай и сов. Кмицикевич в Виснице вскоре же узнать из польских газет, так львовских, как и краковских, которые, особенно от д. 2 мая как дня завязанья Русско-народной рады во Львове, стали с непримиримой злобой бесчестить соучастников той же рады, больше всех же ее председателя-владыку кир Григория, намерая очернением начальных личностей затмить, сдискредитовать русскую идею, какую те же репрезентовали.

Совершенное безверие в толки и клеветы польских газет было натеперь всем, что наши оба висничские друзья тут противопоставить могли; но положительных известий о народных и политических подвигах братии русинов во Львове не имели они даже до конца мая, т. е. до тех пор, пока не попалося им в руки вышепомянутое архиепископское послание из д. 23 мая.

Нарадовавшись довольно тем же посланием, друзья наши в Виснице, восторженные до слез, выслали сейчас во Львов свои предплаты на русскую газету «Зорю Галицку», а Михаил прибавил к своей же предплате еще несколько гульденов на закупку русских букварей, немецко-русской грамматики Иосифа Левицкого и других новостей литературы русской, якие только в ту пору явились во Львове, во Ведни или в Перемышли. Да и так, с первой половины юния сего достопамятного года, начались для наших висничских Диоскуров на-серио студия в русчине - студия, поднимаемые ними перед тем уже по несколько раз, но перерываны за каждым разом, будь по недостатку досужного времени, будь и больше еще над се по недостатку потребной к тому занимательной литературной пищи.

Известно бо, что плоды галицко-русской словесности до 1848 г. были так содержанием, як и объемом еще весьма скудны и появлялись, начавши с г. 1822 (от первых творений Иосифа Левицкого), с перерывами по несколько лет, так что русский читатель, дожидаясь новостей от той же словесности, если не упражнялся между тем в повторительном чтении прежних изданий или книг церковных, подвергался опасности позабыть русскую азбуку и принужден был

оную ж по несколько раз в своей жизни наново заучивать. К тому и сам поважнейший писатель-русин, наш ученый Денис Зубрицкий, писал все свои сочинения до помянутого года на польском языке, и вообще эрудитные, даже полемические творения, к Руси нашей относящиеся, издавались на чужих языках, яко на польском, немецком и чешском (напр., росправы И. Д. Вагилевича о «гуцулах» и «бойках» в Пражской «Часописи музея» из г. 1838, 1839 и 1841 или статья И. Левицкого «О судьбе галицко-русской словесности» в чешской «Деннице» Дубровского из г. 1843), а все большие сборники русско-народных песен (Вячеслава Залесского, Жеготы Паулия, Иосифа Лозинского) печатались у нас письменами латино-польскими.

А несмотря на то все, помежи эфемерными плодами нашей литературы перед г. 1848 были, как мы ее уже выше указали, некоторые немалощные, способные обратить на себе внимание не самого только русского патриота, но вообще всякого совестного мыслителя, доброго друга умственных успехов человечества. До числа тех ценнейших словесных плодов принадлежали по всему преимуществу два русские «Венки, уплетенные русинам на обжинки» Иваном Ф. Головацким во Ведни г. 1846 и 1847, - и они оба присланы были в месяце юнии 1848 г. враз с русскими букварями и грамматикой И. Левицкого из Львова нашему Михаилу в Виснич за определенных ним на ту цель несколько гульденов.

С «Венком» из г. 1846 мы уже познакомились немного ближе на своем месте; тут же, для пополнения наших воззрений в предмете обоих тех «Венков», расскажем о них еще кое-что подробнее.

Уважаем появление сих «Венков» именно в такое время, на досветку возрождения Галицкой Руси, событием для той же Руси весьма важным. Сии-то «Венки» прежде всего были а ргіогі и останут навсегда вопиющим протестом против польской выдумки, будто «гр. Стадион в г. 1848 изобрел народ рутенов в Галичине». Кроме того, оные «Венки» были для нашей Руси предвещим знаменiem сближающихся реформ в жизни духовой и народной, как были подобными предзнаменіями в другом направлении грозная революта 1846 г. для мазуров и прибытие губернатора гр. Стадиона в г. 1847 для всего галицкого края. Даже совпадение годов издания наших «Венков» с годами помянутых социально-политических происшествий имеет для нас свое значение и побуждает мимовольно к проведению параллели между обоего рода теми событиями. Из того же параллелизма выходит ее многопоучительное для нас убеждение, что, когда ответчно неспокойная Польша на переходе к периоду реформ - к г. 1848 не обошлась без привычного ей домашнего рокошу (бунта), то, напротив, миролюбивая Русь наша шла на встречу того

же спасительного года с песней в устах, с добросовестным трудом, як бы по «венок на обжинки». Оружия затем, какими припоясались Польша, а Русь в г. 1846, были целком себе противоположны, як таковыми были и будут всегда: кровопролитный меч, а пшеничный венок, шум бурливой грозы, а пение бодрых жнецов в поле.

Не дивно, что, в тех двух противных себе направлениях действуя, встретились Польша и Русь в самом же году преобразований – в г. 1848, да и тогда по необходимости они стали противу себе: первая с жаждой владычества над всеми, другая со смиренной просьбой ровного для всех права, именно же равноуправления Руси с Польшей. Не дивно, что вследствие того обновилась в крае нашем давняя, историческо известная борьба двух славянских племен, при начатии которой в оном году бессторонний третий – конституционное правительство – приняло сторону «просящих всем правды, ровного всем права».

Но, повертая назад до наших «Венков», мы должны больше всего поднести тут их высокое в литературе значение, имея в виду се важное обстоятельство, что от них-то, собственно, да и самым приметным образом начинается новый современный нам период галицко-русской словесности.

Известно бо в правде, что еще в г. 1837 Маркиян Шашкевич – тот настоящий предтеча духовного Руси нашей возрождения – издал с помощью друзей своих Николая Устыяновича да Ивана Вагилевича первый плод новожитного направления – «Русалку Днестровую», в которой уже сложены были могущие зародыши к самостоятельному посеву на словесной ниве русской; но «Русалка Днестровая» в разгаре молодецкого новаторства пренебрегла установу письма старшой Руси и, вследствие того будучи запрещена, мало распространилась и не имела в публике большого влияния. К тому же Маркиян наш помер уже в г. 1843, на первой поре своего мужеского веку (на 32 году жизни), не успевши довершить начатого реформаторского подвига, а только препоручая друзьям «оминать новаторские ошибки и продолжать дело во благо русского народа мужественно».

Наследником же Маркияна в самом высоком того слова смысле стал Яков Ф. Головацкий, головный сочинитель обоих «Венков», выступивший тут по первый раз с столь богатым запасом знаний по части литературы русской и славянской, что привел тогдашнюю публику нашу в удивление. Уже в I части того ж «Венка» поместил он две весьма примечательные статьи: «О Маркияне Шашкевиче» и «О народных сербских песнях», из которых первая, обучая о реформаторском значении Маркияна в нашей литературе, есть некое исходной точкой возрождающейся галицко-русской словесности, вторая

же указывает на побратимые славянские источники, из яких та же словесность на дальшом развитии в цели своего успевания зачерпывать должна. Кроме тех двух первотворных статей Якова Головацкого, как и заветных песней Маркияна, напечатаны в сей I части «Венка» еще две переводные статейки: «Крещение Руси» Антония Добрянского (из его же польского первотвора, помещенного в шематизме Перемышльской епархии из года 1841) и «Статут литовско-русского законодательства» Игнатия Даниловича (из немецкого первотвора, помещенного в «Dorpater Jahrbücher» еще в году 1834), да сверх того и предисловие издателя Ивана Ф. Головацкого, доказывающее наглядным образом, что той же имел верное понятие о великой цели своего издания.

Вторая часть «Венка», изданная 1847 года тоже Иваном Ф. Головацким во Ведни и посвященная знакомитому панслависту, сербскому патриарху кир Иосифу Раячичу, отличалась супротив первой части яко хорошо дозревающий овощ супротив своего здорового зерна. Семена, верженные в плодovitую почву Маркияном Шашкевичем, воспитанные прозорливым трудом Якова Головацкого, выдали тут обильный самостоятельный плод, который заповедал буйные для галицких русинов обжинки. Вместе с известными дотеперь друзьями покойного Маркияна - Николаем Устыановичем, Ив. Вагилевичем и братьями Головацкими - выступили тут еще новые деятели: Лука Данкевич (рожд. 1791, †1870 г.), Антоний Лужецкий (р. 1807 г.), Антоний Могильницкий (р. 1811, †1873 г.), Михаил Темяк (р. 1817, †1855 г.) и Келестин Скоморовский (р. 1820, †1856 г.). Все они донесли до того «Венка» по киточце благовонящих цветов, из которых где якие не увяли и доньне да и жить будут долго еще после нас украшением домашней словесности. К числу таких творений принадлежат особенно заунывные песни Николая Устыановича, как, напр., «Сумно, марно по долине», «Гей-гей, милый Боже!» и «Надднестрянка», также прекрасные думки Якова Головацкого: «Чом, реченько домашняя, так плывешь поволи», «Я в чужине загигаю, по чужине блужу», «Галичанка любя, мила городочок городила», «А нуте, нуте, быстренький Пруте!», наконец, «Згадка старины», А. Могильницкого «Колись русин с-под Бескидов - так тяженько не думал» и пр. Творения те, полные искреннего поэтического чувства, нашли всенародное оценение, чему доказом служит уже то обстоятельство, что одни из них с неизменной свежестью живут в устах спевной Руси нашей яко хоральные пения, другие - яко улюбленные тематы декламации.

Примечаем тут уместно, что наш Михаил в Висниче, получивши сию II часть «Венка» в юнии г. 1848, изучил в тот же час все выше-

наведенные песенки наизусть и над все же любил всегда тии две из них: «Чом, реченько домашняя» и «Гей-гей, милый Боже! Где ся наши лета дели, лета молоденьки...».

Не меньше как стихотворения достойны внимая в том «Венке» также статьи прозой - и тут-то именно Яков Ф. Головацкий отличился самобытными плодами труда своего в такой степени, что уже с той поры задобыл себе славу ученого и исследователя-этнографа не лишь в Галичине, но и широко в мире славянском. Его статьи, здесь помещенные, как 1) «Подел часу», 2) «Слова витанья и чемности», 3) «Вороженье у русинов», также галицко-русские «Сказки, приповедки, байки и небылицы», все списанные из живых уст и на основании верных преданий русского народа в Галичине, были первыми того рода полнейшими образцами в нашей литературе, ценными вообще для славянской, в особенности для русской этнографии. Больше над то важна его статья - головная в той части «Венка» - под з. «Великая Хорватия, или Галичско-Карпатская Русь», в которой по первый раз изложены коротко, но наглядно и основно историко-статистические сведения о Галицкой в Подкарпатской Руси, слывшей когда-то у византийцев Великой Хорватией. Плод ее не самой только книжной учености, но и самобытных исследований по краю, якие в самом деле автор на своей юности лично поднимал, путешествуя от села до села по обоим сторонам Карпат в цели собирания верных народописных познаний о родинной Руси.

Помянутые статьи Якова Головацкого, як суть и донине драгоценными бисерами нашей юной словесности, так были в свое время истинным наслаждением для старших русинов, а тоже для нашего Михаила в Висниче, который, как мы уже не раз намекали, и сам ставал при случае дилетантом-собирателем русско-народных преданий и следил за ними, бывало, с восторженным замилованьем.

Впрочем, признать подобает, что, як и высоко оценил наш Михаил содержание статей обоих помянутых «Венков», як и любовался красотой живой русской речи, в якой они была списаны, но властивого реформаторского значения их в нашей литературе он тогда еще точно не понимал, а то именно по причине, что не понимал азбучного нашей Руси вопроса.

А реформы в малорусской литературе, к удивлению нынешнего времени, скажем-то, относились як наибольше к тому формалистичному, но в существе весьма важному вопросу о азбуке, о правописи. Хотя убо еще с появления в 1809 г. первых 4 песен травестованной «Энеиды» Ивана П. Котляревского (рожд. 1769, †1838) возникло в Украинской Руси новожитное стремление к воссозданию своей народной словесности, и то стремление нашло вскоре отголос также в

Руси Галицкой; но так как Котляревский в своей «Энеиде» отступил от традиционной славяно-русской правописи, а употребил отдельный род фонетики, приносившая тую же в каждом слове к великорусскому словопроизношению, то зайшел оттого затруднительный вопрос о правописи для возродившейся с Котляревским малорусской словесности. С той поры на Украине водворился фонетизм, который, по несколько раз изменяя свой неправильный вид, достигнул, наконец, в писовне П. Кулиша (кулишовце) певных форм, стоящих в резком противенстве с исторической правописью Руси - как Малой, так и Великой. Усилия киевского университетского профессора, ученого Михаила Максимовича, поднятые против фонетизма еще с 1827 г. (от издания его «Сборника малороссийских песен») в цели привернения давней этимологической правописи в литературе малорусской, оказались именно в его отечестве, на Украине, «гласом вопиющего в пустыне». Напротив того, в нашей Галичине, где первые опыты возрождаемой русской словесности проявились с г. 1822 (народные думки в «Pilger von Lemberg» и первые стихи Иосифа Левицкого), зашел на первых же порах вопрос не так о правописи, которую наши русины знали тогда лишь одну - этимологическую славяно-русскую, как больше о азбуке, особенно с того времени, когда после Вячеслава из Олеска даже наш русский писатель Иосиф Лозинский напечатал в г. 1834 свое «Русское веселье» латино-польскими черенками. Вопрос тот в пользу русской азбуки разрешил уже в г. 1836 знакомитый наш Маркиян Шашкевич, который однако же в следующем же году 1837 сам заготовил новую борьбу, уже не о буквы, а о правопись, сделавши в своей «Русалке Днестровой» немаловажные отступления от правил славяно-русской этимологии. К счастью, друзья и наследники Маркияна исправили ту ошибку его тем добросовестным способом, что один из них, именно Иван Василевич, издал в г. 1845 русскую грамматику точно по правилам Востокова, другие, как братья Головацкие, Ник. Устыанович и пр., составили выше упоминаемые два «Венки», из которых особенно второй из г. 1847 от начала до конца соблюдает историческую нашу славяно-русскую правопись.

Таким делом подвиг тех «Венков», так под взглядом азбуки, як и под взглядом правописи, имел великое значение в русской литературе: был убо, из одной стороны, решительным протестом против сепаратизма, объявившегося на Украине под видом фонетики, в Галичине под видом латино-польского письма, из другой же стороны, выразил и одобрил он позитивное стремление нашей Галицкой Руси к единству литературному, т. е. к объединению новожитной галицко-русской словесности со старо- и общерусской литературой.

Сие позитивное стремление к единству Руси литературному стало всеобщим у нас с достопамятной весны 1848 г., когда принялась читать и писать по-русски не одна только избранная верства литераторов по чину, но загалом вся наша, як старейшая, так и молодая, ученая и учащаяся Галицкая Русь.

За тем же стремлением последовал также восторженный весною 1848 г. наш Михаил - последовал сначала мимо воли, потом с сознанием и полным признанием, как о том постараемся ближе рассказать в II части сего нашего дела.

Конец I части

Источник: *Дедицкий Б.А.* Михаил Качковский и современная галицко-русская литература. Очерк биографический и историко-литературный. Ч. 1. Львов: Типография Ставропигийского института, 1876 . 125 с.

Source: *Deditskii B.A.* Mikhail Kachkovskii and Contemporary Galician-Russian Literature. A Biographical and Historical Literary Essay. L'vov: Press of the Stavropigial Institute, 1876. 125 pages.

Дедицкий Богдан Андреевич (1827-1909) - первый профессионал-журналист Галицкой Руси. Закончил филологический факультет Венского университета. В 1861 г. Богдан Дедицкий возглавил редакцию первой независимой галицко-русской газеты «Слово», которую основал на свои деньги М.А. Качковский. Издал большой сборник «Галицкая зоря - альбом», в котором приняли участие многие видные представители галицко-русской литературы того времени. Поэт, писатель, писал рассказы и повести, исторические исследования, автор многочисленных статей на различные темы. Похоронен на Лычаковском кладбище во Львове в Братской могиле русских журналистов.

Bogdan Deditskii (1827-1909) - the first professional journalist of Galician Russ. He graduated from the Philological Faculty of the University of Vienna. In 1861 Bogdan Deditskii began editing the first independent Galician-Russian newspaper "The Word" which M.A. Kachkovskii founded with his own funds. He published the large album "The Galician Star" in which many prominent representatives of Galician-Russian Literature of the time took part. He was a poet, writer, an author of a large number of articles and wrote narratives and novels. He is buried at the Lichakovsk Cemetary in L'vov in the Tomb of the Brotherhood of Russian Journalists.